



Анна Ердакова

Редактор

Анна Ердакова

Редактор

Серия «Иллюзия искусства», книга 1

<https://litres.ru/74585359>

SelfPub; 2026

Аннотация

Москва расколота надвое. Верхняя — привычная, снежная, с трамваями и фонарями. Нижняя — подземный лабиринт, где живут вычеркнутые: персонажи, которых авторы бросили на полуслове, рифмы, не нашедшие пары, и Сюжеты, не ведающие финала.

Алексей Турин, обычный журналист, просыпается в сыром коллекторе и понимает: внутри него поселился древний грек Тимон самый старый и опасный из незавершённых Сюжетов. За ним уже идут Охотники в серых плащах, чьи стилосы вычёркивают память, события и самих людей.

Спасти его может только редактор Анна Керн, которая когда-то вычеркнула собственную сестру и теперь платит за это собственным исчезновением. Вместе они отправляются в Нижнюю Москву, где улицы вымощены строками, а поэты воюют рифмами. Им предстоит найти последнего соавтора, который поставит точку в истории Тимона. Но чем ближе финал,

тем сильнее Чернильная Чума, пожирающая реальность, и тем страшнее цена завершения.

Дописать историю — значит изменить мир. Не дописать — значит погибнуть.

Содержание

Теплотрасса	5
Анна Керн и цена правды	23
Инструктаж	38
Грязь и шрифт	84
Конец ознакомительного фрагмента.	93

Анна Ердакова

Редактор

Теплотрасса

Пробуждение вышло решительно скверным, как происходит оно обыкновенно у людей, которых накануне основательно приложило судьбой или чем-нибудь более вещественным, например, дверным косяком.

Алексей Турин открыл глаза и не увидел ровным счетом ничего, тьма стояла такая, что хоть пальцем ее трогай, плотная, нагретая, пахнувшая мокрым бетоном и чем-то кислым, напоминающим старые дрожжи. Затылок ныл, будто по нему прошлись тяжелым, а когда Алексей попытался пошевелить рукой, локоть уперся в холодную трубу, покрытую склизким конденсатом. Труба едва заметно вибрировала, и низкий, утробный звук этот наполнял собою все пространство, как наполняет его гул органа в пустом костеле.

Он лежал на чем-то твердом и, надо полагать, для человеческого тела не предназначенном. Пальцы нащупали край бетонного желоба, а нос уловил вдруг отчетливый запах хлорки, идущий снизу, от невидимой воды. Коллектор, теплотрасса. Каким образом его сюда занесло, Алексей решительно не помнил, и от этого внутри похолодело, несмотря

на влажную духоту, обступавшую со всех сторон.

Он сел, едва не приложившись темечком о нависающий свод, и попытался восстановить вчерашний вечер. Ничего. В памяти зиял провал, ровный и гладкий, как отшлифованная плита, — только край стола, закапанный воском, стакан с чем-то рыжим, не то чай, не то виски, и чей-то смех, оборванный на полуноте. Дальше была темнота, идентичная той, что окружала его теперь. Алексей сглотнул. Во рту было сухо и гадко, язык прилипал к нёбу, и вообще весь организм чувствовал себя прескверно и абсолютно отказывался служить.

Поднялся на ноги, держась за теплую трубу, и в этот миг где-то слева, в глубине коридора, мелькнул свет. Не электрический, нет, — он был слишком живой, слишком трепетный, как пламя свечи на сквозняке. Свет двигался, приближался, и вместе с ним по бетонным стенам побежали длинные, ломкие тени, неестественно вывернутые, точно их обладатели шли на полусогнутых или, чего доброго, вовсе не принадлежали к человеческому роду.

Алексей замер. Сердце тяжело и гулко ударило в ребра.

Он еще не видел тех, кто нес этот свет, но уже чувствовал кожей, затылком, внезапно одеревеневшими пальцами, что ничего хорошего встреча не сулит. Было в этом приближающемся сиянии что-то неправильное, нарушающее естественный порядок вещей, как если бы вдруг ожила и пошла навстречу старинная гравюра, изображающая охоту на греш-

ников.

— Эй! — крикнул он негромко и сам испугался того, как жалко, как сиротливо прозвучал его голос в этом бетонном чреве.

Тени остановились и свет замер.

А потом из-за поворота вышли трое.

Одеты они были в длинные серые плащи, какие носят музейные смотрители или архивариусы, но лица, эти лица заставили Алексея попятиться и возблагодарить создателя за то, что он не ужинал накануне. Бледные до синевы, с темными провалами глаз, в которых не читалось ни выражения, ни мысли, а только одно терпеливое нечеловеческое ожидание. Скулы обтянуты кожей так, словно под ней не осталось ни грамма плоти, губы бескровные, плотно сжатые, и у каждого на поясе висел продолговатый футляр, точь-в-точь такой, в каких художники носят кисти, только вместо кистей там, Алексей отчего-то знал это сразу, находилось нечто совсем иное.

Охотники за Сюжетами.

Откуда в голове взялось это название, бог весть, но оно всплыло мгновенно, как всплывает со дна мутной реки обрывок газеты, и обрывок этот был страшным. Алексей понял вдруг темным, животным чутьем, что эти трое пришли за ним. И не просто за ним, а за тем, что сидит у него внутри, за той невысказанной, не оформившейся историей, которую он, оказывается, носил в себе бог знает с каких пор, не по-

дозревая о ее существовании, как не подозревает человек о затаившейся в легком бацилле.

— Проснулся, — произнес тот, что шел первым. Голос у него был сухой, шелестящий, точно пересыпали песок с ладони на ладонь. — Хорошо. С пробужденным проще. Живой материал податливей.

Двое других не сказали ничего. Они просто разошлись в стороны, перекрывая коридор, и Алексей увидел, как из футляров в их руках показались длинные, отливающие тусклым серебром стилосы, с остриями, на которых даже в этой темноте поблескивали капли чего-то густого, похожего на чернила, но пахнущего много хуже — падалью и жженым сахаром одновременно.

— Какой Сюжет? — спросил второй, обращаясь к первому. — Чую древность. Сильный. Очень сильный. Столько лет в земле, а все еще дышит.

— Потому и пришли до рассвета, — ответил первый, не сводя глаз с Алексея. — Наверху проспали, как всегда. А нам этот экземпляр очень пригодится. На рынке нынче дефицит античности. Особенно греческой, незавершенной.

И он улыбнулся, то есть растянул бескровные губы, обнажив серые десны и мелкие, частые, как у рыбы, зубы, и улыбка эта была до того отвратительна, что Алексей мысленно перекрестился, хоть и был человеком совершенно неверующим.

Он отступил еще на шаг. Нога соскользнула с бетонного

выступа, и он, взмахнув руками, едва не рухнул в желоб с мутной водой, но каким-то чудом удержал равновесие. В голове билась только одна первобытная, звериная мысль: «Бежать. Бежать немедленно, куда угодно, хоть в самую темноту, потому что, если эти трое доберутся до тебя — случится непоправимое». Что именно, он не понимал, но страх, скрутивший внутренности в тугой горячий узел, был красноречивее любых объяснений.

Он повернулся и побежал.

Тьма впереди была почти осязаемой, она толкалась в лицо, липла к ресницам, забиралась в рот, как чужая, нечистая ткань. Бетонные стены сменились кирпичной кладкой, старой, крошащейся под пальцами, — здесь пахло уже не хлоркой, а землей, тленом и какой-то древней, застоявшейся сыростью. Где-то позади раздался легкий топот, почти невесомый, будто за ним гнались не люди, а тени людей, отброшенные на стены дрожащим светом их собственных фонарей.

— Не уйдет, — донеслось сзади, и голос этот, хоть и звучал негромко, был слышен так ясно, будто шептали прямо в ухо. — Мы его поместили еще там, наверху. Каждое слово теперь — ниточка к нам.

«Слово», — подумал Алексей, задыхаясь, и в ту же секунду запнулся о выступающий из пола штырь, полетел вперед, выставил руки и, падая, выкрикнул первое, что пришло на язык:

— Стоять!

И произошло нечто невообразимое.

Воздух за ним уплотнился, сгустился, будто невидимый стеклодув выдул из пустоты прозрачный щит, и этот щит, натолкнувшись на стену, замер, наглухо перегородив коридор. Преследователи, не ожидавшие препятствия, с размаху врезались в него. Первый отшатнулся, схватившись за лицо, второй выругался сквозь зубы, третий же, не останавливаясь, взмахнул стилосом и прочертил в воздухе линию. Линия вспыхнула багровым и начала вгрызаться в сотканный Алексеем щит.

— Ишь ты, — прошипел первый, отнимая ладони от разбитого носа, из которого текла вовсе не кровь, а что-то черное, маслянистое, напоминающее нефть или, чего доброго, типографскую краску, простоявшую в подвале лет двадцать. — Огрызается. Значит, точно старый Сюжет. Молодые так не умеют. Бери его, пока не опомнился!

Алексей вскочил и снова бросился бежать. Коридор свернул, еще раз, пошел под уклон, стены сузились, и ему пришлось пробираться боком, обдирая плечи о влажный кирпич. Позади послышался хлопок — это лопнул поставленный им щит, разлетевшись на тысячу стеклянных брызг, которые, впрочем, исчезли, не долетев до пола.

Он вывалился из узкого лаза в просторную камеру с низким сводчатым потолком. Посередине камеры, прямо на бетонном полу, сидел человек.

Человек этот был до того нелеп, до того чужероден это-

му мрачному подземелью, что Алексей на миг забыл о погоне. Широкоплечий, грузный, одетый в драповое пальто с чужого плеча, он держал на коленях выдавший виды аккордеон с протертыми до дыр мехами. Лицо у него было круглое, румяное, лоснящееся от испарины, а глаза — маленькие, заплавленные, но при этом необыкновенно живые, цепкие, — смотрели на Алексея с выражением самого искреннего, почти детского любопытства. От человека пахло табаком, мокрой шерстью и еще чем-то таким, чем пахнет в старых московских коммунальных квартирах по вечерам, — вареной картошкой, что ли, или луковой похлебкой, или, может быть, самой жизнью, той, что прошла и не вернется.

— А, носитель, — сказал человек, и пальцы его пробежали по клавишам, извлекая из инструмента короткий вопросительный аккорд. — За тобой, стало быть, Птицы? Слышу, слышу, уже близко. Поступь у них легкая, но слух у меня, знаешь ли, особенный. Я звук насквозь вижу.

— Кто вы? — выдохнул Алексей, хватаясь за бок, в котором кололо от быстрого бега.

— Гриша я, — просто ответил аккордеонист и чуть склонил голову набок, точно примеряясь, с какого бока лучше всего разглядывать неожиданного гостя. — Можно просто Гриша. А можно Гриша-аккордеонист. А можно Гриша-которого-вычеркнули-за-то-что-играл-не-ту-музыку-не-в-том-месте-и-не-для-тех-людей. Но это длинно, так что давай просто Гриша. А ты, стало быть, и есть тот

самый Турин? Про тебя в Нижней Москве уже третий день судачат. Говорят, внутри у тебя — ого-го. Античность. Сам Тимон, не иначе. Я уж думал, враки, а теперь вижу, нет, не враки. Глаза у тебя соответствующие.

Из коридора донесся топот. Птицы, так назвал их аккордеонист, приближались.

— Ты вот что, — Гриша неторопливо, с достоинством поднялся, перекинул ремень аккордеона через плечо, одернул пальто, — ты беги давай. Прямо по коридору, никуда не сворачивай, там будет лестница, старая, еще купеческая, а за ней сразу лаз в Нижнюю. А я их задержу. Мне не привыкать, я, брат, за свою жизнь столько раз задерживал разных неприятных личностей, что и не сосчитать.

— Но они же вас... — начал Алексей и осекся.

— А что они мне сделают? — Гриша усмехнулся, и усмешка эта получилась невеселой, горькой, какой усмеются люди, потерявшие все, кроме чувства юмора. — Я, мил человек, уже аннулированный. Меня, считай, и нет вовсе. Одна видимость. А видимость, она, знаешь ли, звуком хорошо держится. Музыкой. В этом наше, вычеркнутых, преимущество: нас нет, а звук-то — вот он. Его не вычеркнешь. Им можно только переписать, а это, я тебе доложу, совсем другая процедура, и на нее у них сегодня разрешения нет. Я узнавал.

Он растянул меха. Аккордеон вздохнул, и в тот же миг из-за поворота вылетели трое в серых плащах. Охотники оста-

новились, увидев перед собой неожиданное препятствие.

— Прочь, — сказал первый. Голос его теперь звучал глухо, точно из-под подушки. — Нам нужен носитель. Ты, отыгранный, нам без надобности. Ты — брак. Ты — корректорская вымарка. Уйди с дороги, и мы тебя не тронем.

— А я, может, и отыгранный, — ответил Гриша, и пальцы его легли на клавиши с нежностью, с какой мать кладет руку на лоб заболевшего ребенка, — да только нота у меня еще осталась. Самая главная, финальная. Мне ее один композитор подарил, царствие ему небесное, хороший был человек, хоть и пил горькую. Сказал: «Гриша, это нота не для всех. Прибереги на крайний случай». Вот он, крайний случай, кажется, и настал.

И он ударил по клавишам.

Звук, родившийся под сводами камеры, был до того мощным, до того заполняющим все пространство, что Алексей, уже отвернувшийся было, чтобы бежать, застыл на месте, пораженный и, что греха таить, восхищенный. Это была музыка не в привычном смысле слова, а плотная волна, видимая глазу, сотканная из множества светящихся нотных знаков, которые срывались с мехов аккордеона и летели вперед, врезаясь в стены, в пол, в лица Охотников. Каждая нота была острой, как осколок зеркала, и горячее, как уголь, выпавший из печи. Они впивались в серые плащи, прожигая в них дыры, они крошили кирпич, они заставляли воздух вибрировать и петь на разные голоса, и в этом пении слышалось

Алексею что-то до слез знакомое, что-то из детства, из той жизни, которой он, может быть, никогда и не жил.

Первый Охотник, что был за старшего, взмахнул стилосом, пытаясь вымарать летящие в него ноты, но их было слишком много — целый поток, целая река, и река эта отбросила его к стене, впечатала в кирпичную кладку с такой силой, что изо рта у него выплеснулось черное, склизкое. Двое других попытались обойти звуковую волну с флангов, но Гриша, не прекращая играть, повернул корпус, и новый залп нот ударил вправо и влево одновременно.

— Беги, Турин! — крикнул Гриша, и крик этот странным образом вплелся в музыку, стал ее частью, аккордом, от которого у Алексея заложило уши. — Не держи меня! Я долго не смогу, меха старые, того и гляди порвутся! А ты нужен! Ты, дурак, сам не понимаешь, до чего ты нужен! В тебе — финал, понял? Финал, которого все мы ждали!

Алексей рванул с места. Позади гремел аккордеон, кричали Охотники, звенели, разбиваясь о стены, нотные осколки. Коридор петлял, уходил вниз, становился все уже и темней, но он бежал, спотыкаясь, обдирая ладони, чувствуя, как внутри что-то нарастает, клокочет, требует выхода, — то ли страх, то ли та самая сила, о которой говорили Охотники, сила незавершенной истории, дремавшая в нем, сама не своя, две с половиной тысячи лет.

Лестница возникла перед ним внезапно. Чугунные ступени, уходящие вниз, в абсолютную, звенящую черноту. Ниж-

няя Москва. Он понятия не имел, что это такое и почему это называется именно так, но выбора не оставалось. Позади стихал аккордеон, и это означало только одно: у Гриши кончались силы, или меха, или и то и другое разом.

Алексей начал спускаться. Ступени гудели под ногами, с каждым шагом воздух менялся — становился холоднее, плотнее, насыщеннее странными запахами, в которых угадывались старые книги, мокрая штукатурка, что-то вовсе неопределимое, не имеющее аналогов в мире наверху. Когда последняя ступень осталась позади, он обернулся. Наверху, в проеме, еще мерцал рваный, мечущийся свет, и доносились обрывки тяжелой, нездешней мелодии.

— Прощай, Гриша, — сказал он тихо, сам не зная, зачем.

Свет погас. Музыка оборвалась, точно ее обрезало ножом. И тогда из темноты впереди, из самого сердца Нижней Москвы, ударил другой свет. Лиловый, холодный, льющийся неизвестно откуда, и в свете этом Алексей увидел сводчатый тоннель, уходящий в бесконечность. Стены тоннеля были исписаны надписями, и надписи эти светились собственным, внутренним мерцанием, складываясь в слова, строки, целые абзацы, которых он не мог прочесть, но отчего-то понимал — понимал так же ясно, как понимает человек, что вода мокрая, а огонь горячий.

«Здесь начинается текст», — говорили стены.

«Здесь живут вычеркнутые», — вторил им пол.

«Здесь ждет своего автора Тот-Кто-Не-Завершен», —

шептал потолок.

Алексей сделал шаг вперед, и в этот миг внутри него, в той точке, которую мистики называют душой, а медики не называют никак, — проснулось и шевельнулось огромное, древнее Нечто. Продавшее свое часа две с половиной тысячи лет. Оно не сказало ни слова, не издало ни звука, но Алексей вдруг понял, что больше не один. И не был один никогда, с самого рождения, с первой минуты, с первого крика, которого он, впрочем, не помнил, как не помнит никто из нас.

Лиловый свет замерцал чаще, по стенам побежали тени, но это были не те тени, что гнались за ним наверху, а другие — спокойные, почти родные, какие бывают у старых друзей, зашедших на огонек. Они обступали его, рассматривали, перешептывались на незнакомом языке, похожем на шорох газет и на треск старой патефонной пластинки одновременно.

— Ну здравствуй, Тимон, — прошептал кто-то совсем рядом, и Алексей вздрогнул, потому что рядом никого не было. — Долго же ты добирался. Очень долго. Мы уж и ждать перестали, а кое-кто из наших, признаться, перестал и верить. Но мы — мы верили всегда. Сюжеты не умирают, они просто ждут.

Он хотел спросить: «Кто здесь?», но не успел. Сзади слышался далекий, но отчетливый шум: хлопанье крыльев, скрежет когтей по бетону, торопливое перестукивание множества лап. Охотники не отступили, а нашли другой путь. И теперь неумолимо двигались следом, как двигается по рас-

писанию поезд Москва - Санкт-Петербург.

Алексей побежал. Впереди разгорался теплый, живой, желтоватый свет, от которого тянуло дымом, жареным луком и все той же вареной картошкой, и еще странным, едва уловимым ароматом чернил и старого пергамента. Нижняя Москва ждала его.

Он нырнул в свет, как ныряют в воду, — зажмурившись и задержав дыхание, — а когда открыл глаза, то увидел город.

Город висел над головой, опрокинутый, как отражение в реке, в Москве-реке, что течет себе мимо Кремля вот уже который век. Крыши домов уходили вниз, а мостовые стелились по невидимому небосводу. Где-то далеко, в переулках между перевернутыми колокольнями, горели окна, и в окнах этих двигались силуэты людей, а скорее их тени, их отпечатки, их недосказанные слова, обретшие плоть. Воздух пах осенью и типографской краской. Над головой, там, где полагалось быть земле, медленно вращалась лиловая луна, и свет ее был не отраженным, а собственным, текстуальным — она светила не фотонами, а смыслами, и каждый смысл ложился на лицо легким, едва ощутимым теплом.

«Нижняя Москва, — подумал Алексей, и мысль эта была исполнена какого-то почти религиозного трепета. — Вот ты такая. Вторая столица. Та, о которой не пишут в газетах».

И тут его схватили за плечо.

Он дернулся, попытался вырваться, но держали крепко. Обернувшись, он увидел перед собой молодую женщину в

кожаной куртке нараспашку, из-под которой виднелась тельняшка. Волосы, коротко стриженные, торчали в разные стороны, глаза блестели отчаянно и весело, а в руке она сжимала небольшой, но, видимо, тяжелый гаечный ключ — предмет, в умелых руках способный послужить весьма убедительным доводом в любой дискуссии.

— Живой? — спросила она быстро, ощупывая его взглядом, каким врач ощупывает пациента, поступившего с тяжелой травмой. — Не раненый? За тобой кто гонится? Птицы? Редакторы? Или кто похуже? Ты говори, не стесняйся, я тут всех знаю и никого не боюсь. Кроме разве что корректоров, но корректоры по подвалам не ходят, у них на это нюх слабый.

— Охотники, — выдавил Алексей. — За Сюжетами. Трое в сером. И еще у них стилосы. И они убили Гришу.

— Гришу? — Женщина нахмурилась, и лицо ее, за секунду до того веселое и открытое, сделалось вдруг жестким и сосредоточенным. — Аккордеониста? Вот сволочи. Я так и знала, что этим кончится. Говорила ему: «Гриша, не сиди ты в этом коллекторе, там сыро, там плесень, там, в конце концов, тоннельные крысы величиной с добрую овчарку». А он: «Нет, Лика, я должен. Кому-то же надо караулить границу». И вот — до караулился. Ладно, разберемся. Ты, главное, за мной давай. Быстро. Здесь рядом Гнездо Эсфири, там пересидим. Меня, кстати, Ликой зовут. Лика Гарибальди. Можно просто Лика. А ты, стало быть, тот самый Турин, про кото-

рого все только и говорят последние дни. Ну и вид у тебя, скажу я тебе, Алексей Турин. Будто тебя через мясорубку пропустили, а потом обратно слепили, да второпях, забыв свериться с оригиналом. Ничего, бывает. В нашем квартале со всеми так. Захочешь — расскажешь, не захочешь — не надо. А пока бегом. Птицы эти, они, знаешь ли, не отстают. Им главное — Сюжет учуять, а учуяв — все, пиши пропало. В буквальном, заметь, смысле.

Она говорила быстро, почти скороговоркой, и в этой скороговорке было что-то успокаивающее, не сам смысл, а ритм, напоминающий стук колес по рельсам, под который так хорошо спится в поездах дальнего следования. Алексей, не отвечая, последовал за ней. Они свернули в переулок, потом в другой, потом нырнули под арку, сложенную из настоящих книг, только огромных, в человеческий рост, и оказались в маленьком дворике, освещенном все тем же фиолетовым светом, который здесь казался уже не холодным, а почти уютным.

Посередине дворика росло дерево. Ствол его был свит из множества разноцветных нитей, а вместо листьев с ветвей свисали написанные слова — от руки, печатные, каллиграфические, корявые, на разных языках, — и каждое понятие особенно сияло. От дерева исходило тепло, и сложный, многослойный аромат, в котором смешались чернила, старая бумага, сушеные яблоки и что-то бесконечно родное, что Алексей не мог определить, как ни силился.

— Словесное древо, — пояснила Лика, перехватив его взгляд. — Последнее в Нижней Москве. Остальные Департамент выкорчевал под корень, как сорную траву. А это Эсфирь Крюк отстояла. Она у нас вообще такая, если что в голову вобьет, ни один редактор не переспорит. Да что там редактор, сам Главный Редактор к ней на порог ступить боится. Пошли в дом, там и поговорим. И чаю выпьем. Чай у Эсфири знатный, из старых рукописей, девяносто градусов, заваривается ровно три минуты. После него, говорят, стихи сами в голову лезут.

Она толкнула тяжелую, обитую медными скобами дверь, и Алексей вошел внутрь.

В доме Эсфири Крюк пахло временем, тем, как пахнут старые рукописи, которых не касалась рука человека много десятилетий, и тем, как пахнет воздух в библиотеках, куда не заглядывают случайные посетители. Стены были увешаны гобеленами, на которых, стоило приглядеться, проступали бесконечные строки, уходящие вглубь ткани, переплетающиеся и стелющиеся, как выюнок по забору. Посередине комнаты стояла прялка, и за прялкой сидела старуха.

Эсфирь Крюк была именно такой, какой и полагается быть хранительнице архива, — древней, высохшей, но не сломленной, с лицом, похожим на карту местности, по которой прошли тысячи бурь и войн. Один глаз ее был серым, как февральское небо над Москвой, и в нем отражалось прошлое — Алексей увидел там вдруг себя, бегущего по тоннелю, и

Гришу, сжимающего аккордеон, и даже то, что было до этого: край стола, закапанный воском, стакан с рыжим, чей-то смех. Второй глаз, зеленый, как майская листва на Патриарших, отражал будущее, но в нем Алексей разглядел только смутные очертания — и было это что-то светлое, что-то страшное, что-то неразличимое пока, но уже приближающееся, как приближается гроза.

— Привели, значит, — сказала Эсфирь, и голос у нее оказался не старушечий вовсе, а звонкий, молодой, какой бывает у актрис, играющих трагические роли. — Хорошо. Садись, Алексей Дмитриевич Турин. В ногах правды нет, а в стуле, на который я тебе указываю, есть. Начнем мы его с самого с того, что сидит в тебе и ждет своего часа вот уже двадцать пять веков. С того, что звалось когда-то Тимоном.

Она повела рукой, и гобелены на стенах ожили. Строки побежали быстрее, складываясь в картины: белые колонны на фоне синего неба, толпа на площади, человек с лицом, искаженным гневом и болью, произносящий речь, которой никто не хочет слышать. А потом — тьма, падение, и новое рождение в чужом теле, и снова жизнь, и снова смерть, и опять рождение, бесконечная цепь, уходящая в глубь веков, как уходит в глубь земли корень того самого Словесного древа, что росло во дворе.

— Тимон, — прошептал Алексей, и имя это обожгло ему губы, как обжигает их слишком горячий чай.

— Тимон, — подтвердила Эсфирь, и прялка ее зажужжала

быстрее. — Трагический герой, незавершенный персонаж, Сюжет, не знающий финала. И ты — его последний носитель. Тот, кто должен дописать историю. Или умереть, не дописав, что, в сущности, одно и то же.

— Ну, об этом мы поговорим потом — сказала Эсфирь удовлетворенно. — Врут. Как всегда врут. И там, наверху, и здесь, внизу. Слово, оно, знаешь ли, бессмертно. В отличие от его носителей. Пока иди — поспи.

И Алексей вдруг понял, что она права. И от этого понимания сделалось ему одновременно и страшно, и хорошо — так хорошо, как не было уже очень, очень давно.

За окнами занимался рассвет, и в его свете три серые фигуры отступили, растворились в переулках Нижней Москвы, чтобы затаиться до поры, но не исчезнуть совсем. Потому что Охотники за сюжетами, как известно, не отступают навсегда. Они просто ждут. Как ждет своего часа всякая сила, полагающая себя правой.

Анна Керн и цена правды

Кабинет Анны Керн помещался на седьмом этаже Департамента Нарративной Безопасности, и всякий, кому случилось попасть сюда впервые, невольно приостанавливался у порога, так как комната эта нимало не походила на государственное место. Скорее уж на гостиную сошедшего с ума архивариуса, или, вернее сказать, на лавку старьевщика, в которую неизвестно отчего завезли казенную мебель. Повсюду, от подоконников до наборного паркета, высились горы папок, подшивок, отдельных листов, исписанных бисерным почерком, а одна стена и вовсе была завешана картой Москвы, вдоль и поперек исчерканной красными и синими пометками, напоминавшими капиллярную сеть на анатомическом атласе. Пахло здесь сургучом, старым клеем и еще — не то ландышами, не то мокрой известкой, — тем особенным духом, какой стоит в домах, откуда только что вынесли покойника.

Сама Анна стояла у окна и смотрела на город. Город же лежал перед ней огромный, январский, припорошенный снегом, разрезанный надвое Москвой-рекой, и в каждой точке его в этот самый миг вершились судьбы, складывались и рассыпались сюжеты, рождались и умирали слова. Для обычного человека все это оставалось невидимым, как невидимы радиоволны или чужие мысли, но Анна, сколько себя пом-

нила, обладала способностью различать в городском шуме отдельные смысловые линии, они струились над крышами, переплетались, обрывались и срастались вновь, и в их движении угадывался какой-то сложный, неразгаданный ритм.

Сегодня ритм этот был, безусловно, сбивчивым. Где-то в районе Садового кольца трепыхалось темное пятно, и Анна знала: ложь. Крупная, отлично укорененная, разросшаяся, как грибница под слежавшейся листвой. С такую следовало работать немедленно.

Она отвернулась от окна и прошла к столу, за которым уже дожидался посетитель. Был это человек лет примерно пятидесяти, лысоватый, в дорогом, но сидевшем на нем, как на вешалке, костюме, с бегающими глазками и влажными ладонями, которые он то и дело вытирал о колени. Звали его Аркадий Плоткин, служил он в Министерстве культуры и последние двенадцать лет исправно стирал из отчетности все, что хоть отдаленно напоминало правду. За это время он оброс связями, тремя квартирами, злокачественной подагрой и такой плотной паутиной вранья, что уже и сам не мог отделить собственную жизнь от той биографии, которую выдумал для окружающих.

— Аркадий Борисович, — произнесла Анна, усаживаясь напротив, — вы понимаете, зачем вас пригласили?

Плоткин дернул щекой.

— Признаться, не совсем. Какая-то ошибка, полагаю. Я человек маленький, бумажки перекладываю, кому я мог по-

мешать...

— Вы мне, — перебила Анна спокойно, — не мешаете. Вы мне лжете, а это, согласитесь, разные вещи. Первое еще можно стерпеть. Второе подлежит удалению.

Она достала из ящика стола стилус. Инструмент был старый, доставшийся ей от наставника, — серебряное перо, вправленное в рукоятку из темного дерева, на которой с течением времени проступили буквы древнего алфавита. Грамматическая тинктура, заправленная в стилус, отливала густой синевой, и в глубине ее плавали крошечные огни, — точь-в-точь такие, какие вспыхивают на кончиках спичек, если зажечь их в совершенной темноте.

Плоткин побледнел. Он, разумеется, слышал о редакторах, но, как и большинство обывателей, полагал их чем-то вроде канцелярской легенды, пугалкой для нерадивых чиновников.

— Позвольте, — забормотал он, отодвигаясь вместе со стулом, — по какому праву? Я ничего противозаконного. У меня семья, дети, в конце концов! Я сорок лет на государственной службе!

— Сорок? — Анна вскинула бровь. — Помилуйте, Аркадий Борисович, а в послужном списке у вас пятьдесят два. Вы приписали себе двенадцать лет стажа в тресте «Мосстрой», которого, замечу в скобках, не существовало в природе. Равно как и вашего двоюродного деда-орденоносца, чью фамилию вы имели неосторожность использовать при

поступлении в министерство. Дед же, уж простите великодушно, был персонажем повести Бориса Лавренева, которую вы, судя по всему, не дочитали.

Плоткин открыл рот, потом закрыл. На лбу у него выступила испарина.

Анна подняла стилус и легко коснулась воздуха перед собой. В комнате стало тихо, так тихо, что стало слышно, как на седьмом этаже Департамента потрескивают в камине дрова, хотя никакого камина на седьмом этаже не было и в помине.

— Имя, — произнесла она негромко. — Аркадий Борисович Плоткин. Приговор: текстовая недостаточность четвертой степени. Основание: подмена реального сюжета вымышленным.

И она вычеркнула.

То, что случилось дальше, заняло от силы полминуты, но Плоткину, по его собственным, высказанным впоследствии признаниям, время это показалось вечностью. Сперва с него начала сползать кожа. Не настоящая, конечно, а текстовая, — та самая оболочка из слов и определений, которую он наплел вокруг себя за долгие годы вранья. Она отходила пластами, как старая краска с облупившейся стены, и под каждым слоем обнаруживался следующий, и еще следующий, и еще. Анна работала методично, без торопливости, снимая слой за слоем: «образцовый семьянин», «ветеран труда», «пострадавший от репрессий» (это было украдено у покойного соседа по лестничной клетке), «фронтовик» (Плоткин

в глаза не видел войны, поскольку родился гораздо позже), «кандидат искусствоведения», «потомок старинного рода»...

Слова отваливались и падали на пол с легким шуршанием, напоминавшим шелест сушеных опят, и каждое упавшая фраза на миг вспыхивала и гасла, превращаясь в горстку серой пыли. Через минуту весь паркет вокруг стула Плоткина был усыпан этой пылью, а сам он остался голенький сидеть, — жалкий, уменьшившийся в размерах, лишенный всех своих блестящих определений, оставшийся при одной-единственной правде: Аркадий Плоткин, пятидесяти девяти лет, бездарный начальник, разведен, детей нет, будущего тоже.

— Вот так, — сказала Анна, убирая инструмент. — Теперь вы настоящий. Можете идти. Пропуск вам выпишут внизу.

Плоткин поднялся на ватных ногах. В глазах его стояло странное выражение, — смесь ужаса и облегчения, точно с него сняли тяжеленный рюкзак, который он таскал на плечах, бог знает сколько лет, но сняли так грубо, что вместе с рюкзаком содрали и часть кожи.

— Это... это навсегда? — прошептал он.

— Себя не переписывают дважды, — ответила Анна. — Идите. И постарайтесь больше не врать. У вас к этому теперь органическая неспособность. Считайте это побочным действием процедуры.

Когда дверь за Плоткиным закрылась, Анна тяжело опустилась в кресло. Правая рука, та, что держала стилус, оне-

мела до локтя и подрагивала. Это всегда случалось после серьезных вымарываний, — текстовая недостаточность, профессиональный недуг редакторов, о котором им рассказывали в первый же день службы и к которому невозможно привыкнуть, сколько ни работай. Реальность, из которой изымали слова, стремилась восполнить вакуум и тянула недостающее из самого редактора. Тянула по капле, по букве, по слогу.

Анна посмотрела на свою левую ладонь. Та стала почти прозрачной, сквозь кожу просвечивали синеватые прожилки вен и бледные контуры костей. Час-другой, и пройдет. Или не пройдет. Тут уж как повезет.

В дверь постучали.

— Войдите, — сказала она, пряча ладонь под стол.

Вошел Корнеев. Был он, как всегда, безупречен: отглаженный костюм без единой пылинки, волосы прилизаны, усы топорщатся двумя острыми пиками. За пятнадцать лет службы в Департаменте никто ни разу не видел Корнеева расстегнутым, непричесанным или хотя бы слегка помятым, что, согласитесь, наводило на определенные размышления. В Нижней Москве поговаривали даже, что он вовсе не человек, а текст, написанный каким-то особо дотошным автором, но Анна знала его достаточно близко, чтобы не верить этим рассказам. Просто человек с характером. Очень, я бы сказал, нордическим характером.

— Анна Сергеевна, — начал Корнеев, прикрывая за со-

бой дверь, — у меня срочное сообщение. Только что из оперативного отдела. В районе Теплого Стана обнаружен носитель.

— Носитель? — Анна нахмурилась. — Какой Сюжет?

— Пока не установлен, но аналитики предполагают, что античный. Очень сильный, очень древний. След привел в Нижнюю Москву. Парень ушел. Там были еще Птицы, но это, — он поморщился, — не по нашей части. С ними пусть Охотнадзор разбирается. Нам важно другое: Сухов вызывает вас немедленно. Лично.

Анна поднялась. Вызов к Сухову — это всегда серьезно, а уж личный вызов и подавно. Петр Петрович Сухов, руководитель Департамента Нарративной Безопасности, редко покидал свой кабинет на пятнадцатом этаже и еще реже приглашал к себе рядовых редакторов. Если уж он захотел видеть именно ее, значит, дело и впрямь дрянь.

— Иду, — сказала она коротко. — А вы, Викентий Павлович, голубчик, пока соберите все, что есть по Нижней Москве за последнюю неделю. Мне нужны сводки по активности вычеркнутых, карта перемещений и данные по всем новым Сюжетам, даже самым незначительным. Что-то мне подсказывает: этот носитель — не случайность.

— Уже, — Корнеев извлек из папки несколько листов. — Вот, можете ознакомиться по дороге.

Лифт в Департаменте был старый, еще дореволюционной постройки, с зеркалом в тяжелой бронзовой оправе и дере-

вянными панелями, на которых кто-то из прежних редакторов вырезал перочинным ножом изречение: «В начале было Слово, в конце будет Точка». Кабина поднималась медленно, с достоинством, и в этой медлительности было что-то успокаивающее. Анна развернула бумаги.

Сводка была, прямо скажем, тревожной. За последние трое суток в Нижней Москве зафиксировали всплеск тектонической активности, старая реальность пошла трещинами, из которых полезли наружу твари, каких не видели с самого пятьдесят второго года. Бесхозные Эпитеты. Нерифмованные. Чернильные Слизни. И, что хуже всего, проснулись Охотники за Сюжетами, — те, кого Корнеев деликатно называл Птицами. Вольные старатели, промышлявшие кражей незавершенных историй, опасный сброд, с которым Департамент вел молчаливую войну уже не первое десятилетие. Если они заинтересовались носителем, значит, Сюжет внутри него определенно представляет исключительную ценность.

Лифт остановился. Двери разошлись с тихим звоном, и Анна шагнула в приемную.

Здесь все было выдержано в серых тонах: серые стены, серый ковер, серый плафон под потолком, и только огромный портрет Мнемозины, богини памяти, висевший над дверью в кабинет Сухова, горел яркими красками, как витраж в готическом соборе. С полотна на входящего смотрела женщина с ликом одновременно юным и древним, и в глазах ее читалась такая бездна знания, что хотелось немедленно отвести

взгляд.

Секретарша, бесцветная особа в очках с толстыми линзами, кивнула Анне и молча указала на дверь.

Сухов стоял у окна спиной ко входу, и в первую секунду Анне показалось, что он разглядывает город. Но, подойдя ближе, она поняла: он смотрит не в окно, а в зеркало, висевшее сбоку от оконного проема, — высокое, в человеческий рост, в тяжелой раме черного дерева, с дрожащей поверхностью.

— Анна Сергеевна, — произнес Сухов, не оборачиваясь. — Проходите. Присаживайтесь. Разговор будет непростой.

Голос у него был низкий, глуховатый, с теми особыми обертонами, какие появляются у людей, привыкших говорить много и редко быть услышанными. Анна опустилась в кресло и приготовилась слушать.

Сухов обернулся, и она в очередной раз поразилась тому, как выглядит этот человек. Ему перевалило за семьдесят, но возраст словно не касался его, а может, касался как-то иначе, не так, как прочих смертных. Высокий, сухощавый, с копной совершенно седых, почти белых волос, он напоминал старого актера на покое или вышедшего в тираж дипломата. Лицо его, изрезанное глубокими складками, хранило выражение постоянной, застарелой печали, а в темных глазах, когда он поворачивался к свету, вспыхивали золотые искры, — отблеск того пожара, который он самолично развел много лет назад и который с тех пор не утихал ни на минуту.

— Вы, разумеется, уже знаете о носителе, — начал он, усаживаясь за стол и складывая перед собой руки с длинными, узловатыми пальцами. — Фамилия Турин. Алексей Дмитриевич. Тридцати двух лет, москвич, образование высшее, журналист, пишущий на темы культуры. Впрочем, последнее несущественно. Существенно то, что сидит у него внутри. А внутри у него, Анна Сергеевна, сидит Тимон.

Анна вздрогнула. Имя это она знала. Его знал каждый редактор, потому что Тимон Афинский был не просто Сюжетом, а чем-то вроде краеугольного камня всей нарративной реальности. Самым древним, самым мощным, самым упрямым из всех незавершенных историй, когда-либо существовавших на свете. Он пережил десятки носителей, он прошел сквозь века и цивилизации, и ни один автор так и не сумел дописать его до конца. Включая, как поговаривали в Департаменте, самого Сухова.

— Вы понимаете, что это значит? — спросил Сухов, пристально глядя на нее.

— Понимаю, — ответила Анна. — Если Сюжет такого уровня останется незавершенным, реальность начнет разрушаться. Но если его завершить...

— Если его завершить, — перебил Сухов, и в голосе его прорезалась вдруг резкая, скрежещущая нота, — он умрет. Окончательно и бесповоротно. Вы хотите этого? Хотите стать автором, который поставит точку в истории длинной в две с половиной тысячи лет?

Он замолчал, переводя дыхание. Желваки на скулах обозначились резче, пальцы сжались в замок.

— Я не просто так позвал вас, Анна Сергеевна, — заговорил он снова, уже тише. — Вы лучший редактор Департамента. У вас феноменальное чутье и дар, какого я не видел со времен... Впрочем, неважно. Вы нужны мне для этого дела. Но я хочу, чтобы вы понимали всю его сложность. Тимон не просто Сюжет. Это живая история, которая помнит каждое свое воплощение, каждого своего носителя. Он страдал, он умирал, он воскресал вновь, и каждая смерть добавляла ему горечи. Он не верит авторам. Он боится финала, хотя сам же к нему и стремится. С ним нельзя работать как с обычным текстом. Его нельзя просто стереть или просто дописать. С ним нужно договориться.

— Зачем тогда я? — спросила Анна прямо. — Почему не вы? Вы писали его. Вы знаете его лучше, чем кто бы то ни было. Вы...

— Я не могу, — оборвал ее Сухов, и в этом «не могу» было что-то такое, отчего Анна осеклась на полуслове. — Не спрашивайте почему. Просто не могу. Моя история с Тимоном закончена уже много лет как. И теперь нужен новый автор. Свежий взгляд. Чистое перо. Точнее, вы.

Он поднялся и снова подошел к зеркалу. Анна увидела, как по поверхности его пробежала легкая дрожь, а из глубины проступило смутное изображение: колонны, увитые плющом, беломраморный портик на фоне лазурного неба, толпа

в хитонах и человек, стоящий на возвышении. Человек этот говорил что-то, и, хотя слов не было слышно, Анна поняла, что он произносит проклятия.

— Каждый раз, когда я смотрю сюда, — произнес Сухов глухо, — я вижу его начало. И знаю, что финала нет до сих пор. Вот что, Анна Сергеевна, есть настоящая мука. Не ваша болезнь, не прозрачность, не вычеркивание. А знание, что ты единственный, кто мог завершить историю, и не завершил, а струсил. Сжег рукопись, и с тех пор только и делаешь, что пытаешься исправить ошибку чужими руками.

Он повернулся к ней, и Анна увидела в его глазах нечто, чего не ожидала увидеть вовсе, — глубинный, застарелый тщательно скрываемый страх, но все равно проступающий наружу, как проступают сквозь побелку старые фрески.

— Вы боитесь, — сказала она тихо. — Боитесь, что он умрет. Боитесь, что навсегда исчезнет.

Сухов дернул уголком рта.

— Боюсь, — признал он. — Да, боюсь. Потому что я его знаю. Знал, понимал. И он меня понимал. Это трудно объяснить человеку, который никогда не был автором такого масштаба. Тимон — не персонаж. Он больше, чем персонаж. Он часть меня, часть вас, часть каждого, кто хоть раз брался за перо. И отпустить его — это как отпустить собственную душу. Хватит ли у вас мужества, Анна Сергеевна? Хватит ли сил?

Анна помолчала. Потом сказала:

— У меня нет выбора, Петр Петрович. Вы же знаете: моя болезнь прогрессирует. Еще год-два, и я стану прозрачной настолько, что меня попросту перестанут замечать. А потом и вовсе исчезну, сотрусь. Превращусь в чистое поле. Единственный способ остановить это — завершить великий Сюжет. Так мне говорили еще в училище, написано во всех учебниках. И если Тимон — это тот самый Сюжет, то я берусь. Не из героизма, и не из честолюбия, а из самого простого желания выжить.

Сухов долго смотрел на нее. Потом невесело, криво усмехнулся.

— Что ж. По крайней мере, честно. А честность в нашем деле, скажу я вам, большая редкость. Я даю вам это поручение. Найдите носителя и войдите с ним в контакт. Попытайтесь завершить то, что не смог завершить я. Но помните: Тимон — не единственная ваша проблема. За ним охотятся не только Птицы. В Нижней Москве сейчас неспокойно, очень неспокойно, и я подозреваю, что в Департаменте тоже далеко не все желают Сюжету завершения. Кое-кому, Анна Сергеевна, выгодно, чтобы он оставался открытым, вечным, незавершенным. Вы понимаете, о чем я?

— Догадываюсь, — сказала Анна.

— Тогда идите. И будьте осторожны. Очень осторожны.

Она поднялась и направилась к двери, но на полпути остановилась.

— Петр Петрович, могу я задать один вопрос? Не по служ-

бе. Личный.

Сухов кивнул.

— Когда вы сожгли рукопись... Что именно вы написали в финале? Чем все должно было закончиться?

Сухов отвернулся к окну. Плечи его опустились.

— Этого я вам не скажу, Анна Сергеевна. Во-первых, потому что и сам уже не помню, — я исключил это воспоминание много лет назад. А во-вторых, даже если бы помнил, то не сказал бы. Автор, который диктует финал другому автору, перестает быть автором и становится редактором. А редакторов у Тимона было довольно. Ему нужны писатели. Запомните это.

Когда Анна вышла в коридор, Корнеев уже ждал ее с новой папкой в руках.

— Только что доставили, — сказал он, протягивая бумаги. — В Нижней Москве зафиксирован мощный выброс. Похоже, Турин добрался до Гнезда Эсфири Крюк. И, судя по всему, за ним идут не только Птицы.

— Кто еще? — спросила Анна, разворачивая сводку.

— Шрифтовики. Все трое. Их послала Левченко. Кира Левченко.

Анна замерла. Имя это она знала слишком хорошо. Кира Левченко, ее бывшая однокурсница по Академии Нарративных Искусств, лучшая ученица Сухова, а ныне — глава оперативного отдела Департамента и, по слухам, его злейший внутренний враг. Амбициозная, беспощадная, уверенная в

том, что Нижняя Москва — раковая опухоль на теле реальности, которую следует не лечить, а вырезать без остатка, вместе со всеми ее обитателями. Если она отправила Шрифтовиков — трех братьев-близнецов, элитных редакторов-боевиков, умеющих вычеркивать людей, события и самую память, — значит, дело окончательно приняло скверный оборот.

— Когда отправляемся? — спросила она, не поднимая глаз от бумаг.

— Немедленно, — ответил Корнеев. — Транспорт уже ждет. И, Анна Сергеевна...

— Что?

— Я с вами. Мало ли что. Нижняя Москва, знаете ли, не то место, куда стоит ходить в одиночку. Тем более сейчас. Особенно сейчас.

Анна кивнула. В конце коридора уже темнел проем лифта, и в проеме этом, казалось, сгушалась сама густая, нетерпеливая тьма, готовая в любую секунду хлынуть в реальный мир и затопить его до последнего этажа. И тьма эта пахла, знаете ли, сырым бетоном, старыми дрожжами и еще, пожалуй, страхом, или ожиданием, или тем и другим разом.

Она шагнула в лифт, и дверцы сомкнулись за ней с тихим, почти человеческим вздохом.

Инструктаж

Утро ударило внезапно, как это всегда бывает в Нижней Москве. Да и какое, позвольте спросить, утро? Фиолетовая луна, еще мгновение назад висевшая в зените, померкла, съежилась и ушла под землю, а на смену ей из всех щелей полезло зеленоватое, тревожное свечение, и весь этот проклятый подземный город проявился сразу, вдоль и поперек, будто фотографический снимок в ванночке с проявителем. Именно так, можете мне поверить.

Алексей Турин, продравший глаза после забытья, изломанного тревожными снами, обнаружил себя в том же кресле, куда накануне усадила его Лика Гарибальди. Кресло, было древнее, но удивительно удобное, из тех, что принимают тело с ворчливой лаской столетнего слуги. В комнате было тихо, только прялка Эсфири рокотала где-то в отдалении, как жук в спичечной коробке, и гобелены с историей Эсфири колыхались от невидимого сквозняка, будто сама история эта была еще не дописана.

За окном, выходявшим в палисадник со Словесным деревом, кто-то деликатно, но настойчиво покашливал, напоминая о своем существовании.

Алексей обернулся и увидел пса.

Пес сидел на подоконнике, подобрал под себя короткие кривоватые лапы, и разглядывал Алексея желтыми глазами,

в которых светилось нечто, решительно собаке не свойственное, а именно — ирония пополам с профессиональным любопытством. Заметьте, именно профессиональным. Был он невелик, но коренаст, с лобастой, как у провинциального философа, головой и купированным хвостом. Бурая шерсть с рыжиной на боках, топорщилась в разные стороны, словно пес только что вылез из какой-то литературной драки и не успел привести себя в порядок. Ошейник ему заменяла полоска старой, потрескавшейся кожи, на которой тускло, но значительно поблескивали литеры — личный знак, удостоверение личности, или рекомендательное письмо от самого черта.

— Доброе утро, — произнес пес низким, с хрипотцой голосом, какой бывает у заядлого курильщика или у актера, играющего злодеев. — Меня зовут Абзац. Если полностью — Григорий Борин, но полным именем меня называла только покойная матушка, да и та исключительно в минуты крайнего гнева. Так что давай ограничимся Абзацем. Итак, Эсфирь попросила меня проводить тебя по городу, показать, что к чему, и, по мере возможности, не дать тебе умереть в первый же час. Задача, прямо скажем, непростая, учитывая, что ты понятия не имеешь, куда попал. Но ничего, я привыкший. Собирайся. Да побыстрее, время не ждет.

Алексей, все еще не до конца уверенный, что разговор с псом ему не привиделся, поднялся с кресла и потянулся за курткой. Тело слушалось скверно, как это всегда бывает

после плохой ночи: мышцы ныли, будто его долго и старательно мяли, а внутри, в той самой точке, где вчера шевельнулось нечто, теплился теперь постоянный, едва ощутимый жар, словно под сердцем примостился уголек, который никак не желал гаснуть.

— Спасибо, — сказал он, и голос его прозвучал хрипло. — За вчерашнее. Лике, Эсфири и тебе, если ты тоже участвовал.

— Участвовал, — кивнул пес и спрыгнул с подоконника на пол, звучно стукнув когтями по паркету. — Я, видишь ли, при Гнезде состою кем-то вроде сторожа, или, если угодно, экскурсовода. Вожу новеньких, показываю достопримечательности, предупреждаю об опасностях. Работа нервная, платят скудно, но зато виды. Ну, пошли. Нам сегодня в Старый квартал, а по дороге, уж извини, Блошиный Рынок. Без него никак, коротких путей тут не предусмотрено, а если и предусмотрено, то я о них ничего не знаю.

Они вышли через черный ход, миновали дворик, где Словесное древо тихо перешептывалось само с собой разноцветными листьями, и оказались на улице, которую Алексей накануне толком не разглядел, потому что был в полуобморочном состоянии.

Теперь, при зеленоватом дневном освещении, Нижняя Москва производила впечатление и вовсе сюрреалистическое, если не сказать безумное. Узкие мостовые, выложенные брусчаткой, которая при ближайшем рассмотрении ока-

зывалась не камнем, а прессованными книжными страницами, петляли между домами самой причудливой, я бы даже сказал, болезненной архитектуры. Здесь соседствовали купеческие особнячки с наличниками, облепленными буквами, как пряниками, конструктивистские коробки, обросшие текстами, словно мхом, и вовсе уж фантастические строения, напоминавшие не то перевернутые воронки, не то гигантские чернильницы, не то дурной сон архитектора, начитавшегося на ночь словаря Даля. Воздух был плотный, многослойный, насыщенный запахами — пахло старыми рукописями, горячим хлебом, мокрой шерстью и еще бог знает чем, а главное, звучал в нем постоянный, едва уловимый гул, похожий на далекий хор голосов, читающих вслух каждый свое.

— Идем и не зевай, — наставлял Абзац, вышагивая впереди с видом полководца. — Смотри под ноги, а еще лучше — читай под ноги. У нас тут мостовая, знаешь ли, не просто поверхность. Она текст. И по тексту этому можно понять, куда идешь и чего ждать. Видишь, вон там запятая? Это, брат, поворот направо. А восклицательный знак — внимание, опасный перекресток. Многоточие означает, что дорога обрывается неопределенностью, и лучше туда не соваться без опытного проводника. Точка — тупик. А вопросительный знак, ну, тут, я полагаю, ты и сам догадался.

Алексей опустил глаза и в самом деле увидел, что брусчатка под ногами исписана письменами. Буквы, строки, зна-

ки препинания — все это было вдавлено в сероватую массу, напоминавшую старую, ветхую бумагу, и каждое слово едва заметно светилось, реагируя на шаги. Наступишь на глагол, и под ногой коротко вспыхнет искра, наступишь на существительное, отзовется глухим гулом, словно в подземный колокол ударили.

— А если наступить на что-нибудь нехорошее? — спросил Алексей, и спросил не зря.

— Наступишь и узнаешь, — философски заметил пес, поведя ухом. — Но лучше не наступай. У нас тут есть участки, где мостовая вымощена ругательствами. Очень неприятное ощущение, доложу я тебе. Как в навоз вляпаться, только хуже, потому что воняет не обувь, а мысли.

Они свернули в переулок, потом в другой, прошли под аркой, сложенной из потрепанных фолиантов, которые держались друг за друга одним только книжным клеем да честным словом, и неожиданно вышли на обширную площадь, которая гудела, колыхалась и жила своей, особенной жизнью.

Блошиный Рынок Смыслов оправдывал свое название в полной мере. Здесь торговали чем угодно, лишь бы это «что угодно» имело отношение к тексту, к слову, к проклятой литературе. В шатких ларьках, сколоченных из книжных обложек, громоздились банки с запятыми всех размеров и оттенков, связки вытертых метафор, еще пригодных к употреблению, коробки с многоточиями россыпью, бухты спутанных сюжетных линий, мешки с выдохшимися сравнениями и да-

же, в одном особенно зловещем на вид закутке, заспиртованные в мутной, подозрительной жидкости плавали редкие синонимы, почти вышедшие из обихода, и оттого особенно дорогие.

Продавцы, сидевшие у своих товаров, представляли собою зрелище не менее причудливое. Тут были вычеркнутые всех эпох и сословий, граждане, которых вымарали из жизни, из литературы, из памяти, и теперь они обретались здесь, в этом подземном царстве слов. Дама в кринолине, с лицом бледным и торжественным, предлагала изящные анафоры; мрачного вида детина в кожанке приторговывал крепкими, сбитыми глаголами, которые так и просились в драку; старуха в пуховом платке, сморщенная, как прошлогоднее яблоко, раскладывала на прилавке сушеные эпитеты; и даже некто, с головой укутанный в серый балахон, из-под которого виднелись лишь длинные, бледные пальцы пианиста или шулера, — этот торговал умолчаниями и паузами, и на каждый товар у него имелся особый сертификат подлинности с печатью.

— Глазей, но не задерживайся, — предупредил Абзац, и в голосе его зазвучала тревога. — Тут, конечно, поучительно и даже занимательно, но и опасно до крайности. Смотри.

И он кивнул вбок, где у одного из ларьков уже разгоралась драка. Какой-то субъект в потрепанном сюртуке, судя по всему, поэт из вычеркнутых, с лицом голодным и вдохновенным, пытался сторговать у торговки связку рифм. Но та, баба крепкая, выдавшая виды, заламывала цену, говори-

ла, рифмы свежие, еще никем не использованные, а на «розы» у нее и вовсе очередь на три дня вперед. Поэт размахивал руками и кричал дурным голосом, что рифма «розы — грезы» вообще-то общее достояние и нечего тут наживаться на святом.

— Привыкай, — сказал пес, зевнув. — Это рынок. Здесь все так. Смыслы нынче дороги, особенно хорошие. Новые смыслы уже лет двадцать как не появлялись, все больше старые перепродают. Ну, или краденые. Ты, кстати, свои слова береги. Тут желающих их у тебя оттяпать — пруд пруди.

Алексей хотел было спросить, что значит «свои слова», но не успел. Воздух над площадью вдруг задрожал, пошел трещинами, как будто само пространство было не прочнее тюли, и откуда-то сверху, с невидимого, каменного свода, посыпались Бесхозные Эпитеты.

Выглядели они как колючие сгустки света, каждый величиной с кулак, и летели, издавая противный, режущий ухо свист, похожий на звук лопающейся струны. Один такой сгусток врезался в прилавок старухи, и сушеные эпитеты тотчас вспыхнули синим, неживым пламенем. Второй угодил прямоком в даму с кринолином, и та, вскрикнув тонко и жалобно, начала стремительно бледнеть, становиться прозрачной, таять. Третий, четвертый, пятый — они сыпались градом, и площадь мгновенно превратилась в поле боя, в хаос, в совершеннейший бедлам.

— Бесхозные! — рявкнул Абзац, и шерсть на его загривке

поднялась дыбом. — Только этого нам не хватало! Сейчас начнется!

И началось.

Эпитеты, колючие летающие слова-паразиты, не были разумны в человеческом смысле, но обладали своего рода стайным, хищным инстинктом. Они набрасывались на все, что несло в себе хоть какой-то смысл, и высасывали его, оставляя после себя серые, безжизненные оболочки, лишённые всякого значения, — пустоты. Торговцы с воплями бросились врассыпную, прижимая к груди свой бесценный товар, а наиболее отчаянные пытались отбиваться подручными средствами: кто связкой прилагательных, кто запасным глаголом, но тварей было слишком много.

— Что делать?! — крикнул Алексей, инстинктивно пригибаясь. Страх плеснул в нем холодом.

— Ставь точку! — проорал пес в ответ, уворачиваясь от особо крупного эпитета, метившего ему прямо в лобастую голову. — Резко обрывай фразу! Вот так: стоял, смотрел, а потом — точка! И готово!

Алексей не понял, но попытался. Он выпрямился во весь рост, глядя на ближайший сгусток, несущийся прямо на него с мерзким свистом, и, набрав в легкие побольше воздуха, крикнул первое, что пришло в голову, чисто по-московски:

— А ну, пошел прочь, дрянь ты такая, и точка!

Сгусток, не добравшись до него каких-нибудь полметра, лопнул с тихим, каким-то даже разочарованным хлопком,

рассыпавшись безвредными искрами. Алексей ошарашенно уставился на дело своих рук, не веря.

— Молодец, — одобрительно буркнул пес. — Понял принцип. Теперь давай еще. Их тут десятка три, не меньше. Будем чистить площадь, пока они весь рынок не сожрали.

Следующие несколько минут прошли в лихорадочном, азартном темпе. Алексей, вошедший во вкус, ставил точку за точкой, и каждая оборванная им фраза уничтожала очередную тварь. «Летишь, светишься, а на деле — мыльный пузырь, и точка!» — лопался эпитет. «Колючий, настырный, а ума ни на грош, и точка!» — еще один. Дело спорилось, и вскоре от стаи осталась едва ли половина.

Но тут случилось непредвиденное, как это всегда и бывает в самых скверных историях. Один из Бесхозных Эпитетов, самый крупный, матерый, видимо, старый вожак стаи, изловчившись, спикировал на Алексея сзади, со спины, откуда не ждали. Тот не успел ни обернуться, ни выкрикнуть спасительную фразу. Эпитет вонзился ему в спину, в область левой лопатки, и Алексей в то же мгновение почувствовал, как из него что-то вытягивают — не кровь, не тепло, а нечто иное, куда более важное, то, чему он и названия-то не знал. Слова. Из него вытягивали слова, которыми он думал, дышал, жил.

— Ах ты ж, окаянный! — воскликнул пес и ринулся на выручку, но его опередили.

Со стороны ближайшего переуллка раздался звучный, хо-

рошо поставленный, театральный голос:

— Эй, тварь бессмысленная! Рифму лови!

И в воздухе, вращаясь и посвистывая, просвистело четверостишие. Оно было коротким, рубленным, выкованным на манер футуристических опытов начала века, и летело, как метательный нож. Врезавшись в эпитет, четверостишие взорвалось каскадом звонких, хлестких рифм, и тварь, не выдержав такого напора, с тихим воем распалась на составные части — просто буквы, безвольно осыпавшиеся в пыль.

Алексей, пошатываясь от слабости и пережитого ужаса, обернулся и увидел спасителя.

Тот стоял, уперев руки в бока, и вид имел самый живописный, а лучше сказать, экстравагантный. Высок, тощ, с впалыми щеками и лихорадочно блестящими, глубоко запавшими глазами, одетый в канареечно-желтую кофту, какую носили поэты-футуристы в незабвенном девятьсот тринадцатом году, и в широченные брюки из черного бархата. На голове его покоился картуз с длинным козырьком, а на ногах красовались ботинки с обмотками, давно вышедшие из моды. Весь его облик дышал какой-то отчаянной, голодной элегантностью, и сразу было видно, что человек этот привык существовать на грани, а то и за гранью общепринятых норм, здравого смысла и собственных возможностей. Словом, поэт.

— Клим Звягин, — представился он, подходя ближе и крепко, по-товарищески подхватывая Алексея под локоть. — Поэт. Вымаранный в двадцать первом году за форма-

лизм, антисоветчину и неоднократное нарушение нарративной стабильности. С тех пор живу здесь, торгую редкими словами и рифмами, а в свободное время спасаю неосторожных новичков, которые, по наивности души, не умеют смотреть в оба. Ты, я так понимаю, тот самый Турин? Ну-ну. Мог бы и поосторожнее. Спина — она, знаешь ли, для слов самое уязвимое место. Там позвоночник, а в позвоночнике костный мозг, а в костном мозге стволовые клетки, а из них, между нами говоря, и берутся все новые смыслы. Так что спину береги пуще глаза. Без нее ты не жилец. Ни здесь, ни, тем более, наверху.

Он говорил быстро, энергично, чуть нараспев, будто читал поэму собственного сочинения, и в речи его то и дело проскальзывали рифмы — не нарочитые, а естественные, словно он и думал стихами.

— Спасибо, — выдохнул Алексей, все еще ощущая в спине противный, сосущий холодок. — Вовремя вы.

— Я всегда вовремя, — беспечно отмахнулся Клим. — Это мое проклятие. Чувствую, где кому нужна рифма, и меня туда тянет, как магнитом. Иногда думаю, может, бросить все и уйти в прозу? Но в прозе, друг мой, платят еще хуже, чем в поэзии. А тут хоть какая-то копейка перепадает. Ладно, господа, давайте-ка уходить отсюда, пока новая стая не налетела. Тут рядом, за углом, есть одна щель, ведущая напрямиком к дому Эсфири. Я провожу.

Он развернулся и зашагал к переулку, из которого появил-

ся. Абзац, все это время молча и пристально наблюдавший за происходящим, негромко кашлянул, и кашель этот прозвучал весьма выразительно.

— Я смотрю, у тебя уже и провожатые новые завелись, — заметил он, обращаясь к Алексею, и в голосе его проскользнула странная нотка — ревность, обида, не то что-то еще, не поддающееся определению.

— Да брось, Абзац, — улыбнулся Клим через плечо, и улыбка у него была открытая, но какая-то нервная. — Ты у нас главный экскурсовод, никто твою должность не оспаривает. Просто я мимо проходил, вижу твориться форменное безобразие. Не мог же я допустить, чтобы такого многообещающего юношу сожрала какая-то бесхозная гадость? Тем более что за него, я слышал краем уха, уже и Шрифтовикам назначена цена. Кстати, ты в курсе?

Абзац насторожил уши и весь подобрался.

— Что за цена?

— Десять тысяч знаков, — сказал Клим, и голос его упал до шепота. — За живого. И пять — за мертвого. Назначила, представь себе, лично Кира Левченко. Так что, господа хорошие, у нас тут не просто носитель, а ходячее состояние. Беречь его надо. Холить и лелеять. И, по возможности, никому не отдавать.

Они свернули в переулок, и шум Блошиного Рынка, еще недавно стоявший в ушах, начал стихать, как стихает зубная боль от хорошего лекарства. Здесь, в узком, темном проходе

между двумя слепыми стенами, царила плотная тишина, почти физически ощутимая, и звуки шагов отдавались гулко, как в колодце.

— Что еще за знаки? — спросил Алексей, когда они отошли на достаточное расстояние. Голова его шла кругом.

— Знаки препинания, — пояснил Клим, не оборачиваясь и продолжая вышагивать своим размашистым шагом. — У нас тут валюта такая. Не рубли, не доллары, а знаки. Чем сложнее знак, тем он дороже. Запятая — копейка. Точка — рубль. А точка с запятой — это, друг мой, уже червонец, и не советский, а старый, царский, золотой. Десять тысяч знаков — сумма колоссальная. За нее можно купить целый абзац в Старом квартале и жить там безбедно до скончания времен. Так что за твоей головой, Турин, теперь будут охотиться все, кому не лень. И Птицы, и Шрифтовики, и просто вольные старатели, которые мечтают разбогатеть и умереть в собственной постели.

— Приятно познакомиться, — мрачно заметил Алексей.

— А ты как думал? — Клим хмыкнул. — Сюжет, который в тебе сидит, — древний, как сама письменность. Таких на рынке не видели со времен, почитай, Сухова. Так что привыкай, Турин. Отныне ты лакомый кусок. Ходячий деликатес. Мечта гурмана. И убереечь тебя от всех желающих полакомиться будет, прямо скажем, непросто.

Он остановился у стены, на которой зияла узкая, едва заметная трещина, похожая на замочную скважину. Сунув

в нее руку, он потянул на себя, и стена подалась с тихим скрипом. Трещина расширилась, превратившись в дверной проем, из которого пахло теплом, сушеными травами и древним, нездешним уютом.

— Пришли, — объявил Клим. — Это черный ход в Гнездо. Эсфирь о нем знает, Лика знает, я знаю, а теперь и вы знаете. Пользуйтесь, но не злоупотребляйте. У нас тут не проходной двор, а режимный объект, со всеми вытекающими.

Они протиснулись в проем и оказались в уже знакомом дворике. Словесное древо, завидев гостей, приветственно зашуршало листвою-словами, а из дома, почуяв возвращение, вышла Лика. Вид у нее был озабоченный и усталый.

— Ну что? — спросила она, оглядывая всех троих быстрым, цепким взглядом. — Дошли? Или как?

— Дошли, — отозвался Абзац. — С приключениями, но дошли. На Рынке Бесхозные налетели. Едва отбились. Спасибо вот ему, — пес мотнул лобастой головой в сторону Клина, — успел в самый раз.

— Я всегда в самый раз, — повторил Клим свою коронную фразу и, кашлянув в кулак, добавил, глядя на Лику как-то по-особенному, с затаенной, почти собачьей нежностью, какой от этого брутального футуриста трудно было ожидать. — Рад видеть вас, Лика. Вы сегодня особенно... воздушны.

— Звягин, — перебила Лика строго, но щеки ее чуть заметно порозовели, — ты опять за свое? Сколько раз повторяю: не надо мне твоих комплиментов. Я девушка простая, к

поэзии не приученная. Ты мне лучше скажи: что там слышно про Шрифтовики? Правда, что Левченко цену назначила?

— Правда, — кивнул Клим, и игривый, легкомысленный тон его мгновенно сменился на серьезный. — Десять тысяч знаков за живого носителя. И пять — за мертвого. Братья уже в Нижней Москве. Я слышал, они прошли через Коробий брод и теперь рыщут где-то в районе Старого квартала. Пока не нашли след, но это, увы, лишь вопрос времени. У них нюх, как у гончих. Особенно у старшего, того, что вычеркивает память. Этот, говорят, может учуять Сюжет за три квартала, даже против ветра.

Лица нахмурилась, и между ее бровей пролегла тонкая, строгая складка.

— Плохо дело. Уходить надо быстро. Очень быстро. Собирай вещи, Турин, и пойдем. Тут недалеко есть одно местечко — Музей имени Никого. Там Безродный сидит, архивариус, старый пень, но человек верный. Он поможет на время спрятаться. А там видно будет.

— Музей? — переспросил Алексей. — Какой еще музей?

— Ты, я смотрю, вообще ничего не знаешь, — покачал головой Клим. — Ну да ничего, это поправимо. Ликвидируем безграмотность в процессе. А пока что слушай старших и делай, что говорят. У нас тут, брат, не курорт. Тут каждая минута на вес золота. Вернее, на вес точки. А точка, как ты уже, надеюсь, понял, — это самое дорогое, что у нас есть.

Он обернулся к Лике, и на лице его снова проступи-

ло, особенное выражение, которое Алексей заметил раньше, — смесь обожания, тоски и какой-то обреченной, бескорыстной преданности, какая бывает у старых, битых жизнью псов, глядящих на единственного хозяина.

— Я с вами, — сказал он тихо. — Если позволите.

— Позволяю, — кивнула Лика после короткой, мучительной паузы. — Только без стихов. И без этих твоих... взглядов. Понял?

— Понял, — ответил Клим, и в голосе его прозвучала такая кротость, что даже Абзац, выдавший виды пес-экскурсовод, только головой покачал и ничего не сказал.

— Но пока идите в дом, — распорядилась Лика. — А у меня еще дело.

И все, понурившись, двинулись внутрь, оставив ее одну в сгущающихся зеленоватых сумерках.

Остановимся подробнее на гнезде Эсфири.

Снаружи дом Эсфири Крюк выглядел именно так, как и надлежит выглядеть дому, о котором в Верхней Москве предпочитали не вспоминать вовсе, — старый, вросший в землю особнячок, неведомо какими судьбами затесавшийся между двумя глухими, облупленными брандмауэрами. Крыльцо его покосилось, ставни давно не красили, и единственное, что выделяло его среди прочих строений Нижней Москвы, — это странное, ни на что не похожее свечение в окнах второго этажа по ночам. Впрочем, мало ли что может светиться в окнах у одинокой старухи? Скажем, лампа-

да, керосинка, или вовсе какая-нибудь чертовщина, о которой лучше и не думать.

Однако внутри, за порогом, случалось решительное и непоправимое смещение привычных законов, на каках держится здравый смысл обывателя. Пространство дома решительно отказывалось подчиняться геометрии, и всякий, кто переступал порог, немедленно испытывал головокружение, какое бывает при чтении чрезмерно запутанного романа. Комнаты здесь не соединялись дверями, двери, собственно, и вовсе отсутствовали за ненадобностью, а перетекали одна в другую через арки, сложенные из придаточных предложений, и коридоры, выстеленные деепричастными оборотами. Лестницы же, винтовые и скрипучие, вместо ступеней имели цитаты из книг, давно забытых и ни разу не переизданных, наступая на них, гость невольно угадывал ритм фразы и оттого двигался особенно осторожно, боясь пропустить запятую.

И над всем этим живым, дышащим, непрестанно шелестящим пространством струился мягкий, золотистый, неизвестно откуда берущийся свет, который был до того густ и насыщен, что, казалось, его можно было пить, как старое вино. В воздухе стоял тихий, неумолимый шорох, какой издают страницы, если перелистывать их очень медленно и очень бережно, и шорох этот навевал странное чувство, будто ты попал внутрь огромной, никем не читанной рукописи.

Эсфирь Крюк сидела у окна, за которым, в крошечном

палисаднике, росло Словесное древо, — диковинное растение. Старуха пряла. Прялка ее, массивная, темного дерева, с колесом, формой напоминавшим ущербную луну, урчала негромко и убаюкивающе, не так, как жужжит обыкновенная прялка, а так, как мурлычет сытый, разомлевший у печки кот. Из-под пальцев Эсфири тянулась нить, но что это была за нить сплетенная из мельчайших, сливающихся в сплошной поток букв. Переливаясь и подрагивая, нить уходила прямо в стену и там исчезала, вплетаясь в один из бесчисленных гобеленов, покрывавших все вертикальные поверхности комнаты.

Гобелены эти, надо сказать, были главным сокровищем Эсфири и, пожалуй, главной загадкой, какую вообще можно было отыскать в Нижней Москве. Издали они походили на старинные шпалеры — с фигурами, пейзажами, архитектурными капителями, но стоило приблизиться, как иллюзия рассеивалась, и становилось видно: каждая деталь, каждый завиток, каждая складка одежды сотканы из слов. Мельчайших, бисерных, нанизанных с той немислимой плотностью, какой не достигал ни один ткач за всю историю ремесла. Слова складывались в строки, строки в образы, а образы эти двигались, дышали, жили собственной, неторопливой жизнью, и в движении их угадывался некий важный, сокровенный ритм, — ритм памяти.

— Садитесь, Алексей Дмитриевич, — произнесла Эсфирь, не оборачиваясь и не отрываясь от прялки. — Разго-

вор у нас будет долгий, а стоя долго не говорят — мысли тяжелеют и оседают в пятки. Садитесь вот сюда, поближе. Чаю хотите? Чаю, голубчик, у меня нет, но могу предложить настойку из сушеных прилагательных. Бодрит чрезвычайно и проясняет речь.

Алексей опустился в кресло, в котором вчера ночевал, только теперь заметил, что обивка кресел в комнате Эсфири не бархатная и не кожаная, а бумажная. Бумага эта была мелко исписана чьим-то старательным, убористым почерком, и строки, если прикоснуться к ним пальцами, отвечали едва уловимым теплом — словно страницы только что оторвались от печатного станка.

— Не бойтесь, — усмехнулась старуха, перехватив его изумленный взгляд. — Это всего лишь черновики. Старые, никуда не годные. У меня, знаете ли, вся мебель из неудавшихся рукописей. И стулья, и стол, и этажерка в углу. Садитесь, садитесь смелее. Разваливаться под вами ничего не станет, проверено поколениями.

Она наконец повернулась к гостю, и Алексей вновь, как и накануне, поразился ее лицу.

— Вы, я полагаю, желаете знать, что с вами происходит, — сказала она, и сухой, с легким присвистом голос напоминал шелест осенней листвы под ногами. — И кто таков Тимон, царствие ему небесное, хотя никакого небесного царствия он не заслужил. И отчего за вами охотятся все кому не лень. И какое отношение ко всей этой истории имеет ваша фамилия.

Верно я говорю?

— Верно, — кивнул Алексей, чувствуя, как внутри у него что-то переворачивается.

— Тогда смотрите.

Эсфирь повела рукой, движением дирижера, взмахнувшего палочкой перед незримым оркестром, и один из гобеленов, тот, что висел прямо напротив гостя, ожил. Строки побежали быстрее, письма налились глубоким, почти осязаемым светом, и сквозь ткань проступило выпуклое, живое, дышащее изображение, Белый город на холме, обнесенный каменной стеной; за стеной — синее море, уходящее к самому горизонту; на вершине холма — храм с колоннами, увитыми виноградом. Небо над храмом было южным, пронзительно-синим, и в этом небе кружили птицы — чайки, или какие-то иные, никогда не виданные, из тех, что являются человеку разве что во сне или в горячечном бреду.

— Смотрите, — повторила Эсфирь, и нить в ее пальцах загудела, зажужжала, натянулась, как струна. — Это ваш род, Алексей Дмитриевич. Не весь, конечно, — всего не уместить и на ста гобеленах, — но самое существенное. Самое, так сказать, роковое.

Изображение дрогнуло, поплыло, сменяясь новым: теперь по гобелену, мерно раскачиваясь, шагали люди в длинных одеждах, с посохами в руках. За ними брели навьюченные ослы, а впереди, указывая путь, ехал всадник на белом коне. Лица людей были смуглы, обветрены, и в чертах их угады-

валось нечто неуловимо общее с лицом самого Алексея — разрез глаз, посадка головы, та особая горькая складка у губ, какая появляется у тех, кто привык терять.

— Фессалийцы, — пояснила старуха, не прерывая прядения. — Ваши пращуры по прямой линии. Жили в городе Лариссе, что в северной Греции, держали овец и виноградники. Были зажиточны, уважаемы, и никто бы о них не вспомнил через две тысячи лет, если бы не один случай. А случай этот, голубчик мой, сидит теперь у вас внутри. Вот здесь, — она ткнула костлявым пальцем в сторону его груди. — Под сердцем.

Гобелен снова переменялся. Теперь на нем разворачивался пир — длинный стол, уставленный чашами и блюдами, множество гостей в белых одеяниях, и посреди этого великолепия стоял человек с лицом, искаженным мукой и гневом. Рот его был разверст в беззвучном крике, и, хотя из гобелена не доносилось ни звука, Алексей отчетливо понял: человек этот проклинает. Проклинает богов, людей, саму жизнь, собственную глупую, растраченную на неблагодарных друзей душу.

— Тимон, — прошептала Эсфирь, и в голосе ее мелькнуло нечто похожее на страх. — Тимон, сын Эхекратида. Афинянин. Жил во времена Пелопоннесской войны, был богат, щедр, сорил деньгами направо и налево, а когда разорился, то друзья, разумеется, немедленно его покинули. Тогда он проклял род людской и удалился в пустыню, где вскорости

и умер. Казалось бы, самая заурядная история, каких в благословенной Элладе случалось великое множество. Но тут, видите ли, произошла загвоздка. То ли проклятие его оказалось чрезмерной силы, то ли обида была столь глубока, что пропоролa ткань реальности, то ли сами боги, по своему всегдашнему легкомыслию, вмешались в ход событий, но история Тимона не пожелала завершаться. Она осталась открытой. Неоконченной, как рукопись, брошенная автором на середине главы. И с тех пор, милый мой Алексей Дмитриевич, эта история ищет своего автора. Того, кто допишет ее до последней точки.

— Но при чем тут я? — спросил Алексей, хотя в глубине души уже начинал догадываться, при чем.

— А вот при чем.

Эсфирь дернула нить, и гобелен отозвался новой чередой образов. По ткани потекли столетия — сменялись эпохи, костюмы, страны. Мелькали лица — мужские, женские, молодые, старые, красивые и безобразные, — и всех их объединяло одно: в каждом жил Тимон. Он переходил из тела в тело, из века в век, ждал, надеялся, отчаивался, умирал и воскресал вновь, и каждое новое рождение отнимало у него часть памяти и прибавляло горечи.

— Род Туриных всегда был ему домом, — произнесла Эсфирь, и прятка ее на мгновение смолкла. — Еще с тех самых фессалийских времен. Почему так вышло, никто не знает. Может, ваш далекий предок был должником Тимона. Может

быть, единственным, кто не отвернулся от него в час беды. А может, просто имел несчастье оказаться не в том месте не в тот час. Но факт, согласитесь, остается фактом: уже двадцать пять веков Сюжет передается чаще всего по вашей линии, как передают фамильное серебро или наследственную болезнь. И вы, Алексей Дмитриевич, — последний. За вами — никого. Если Тимон не завершится сейчас, он не завершится уже никогда. А это означает...

Она не договорила. Гобелен на стене дрогнул, пошел рябью, изображение на нем распалось на отдельные буквы и с тихим шорохом осыпалось грудой серого праха.

— Что это? — встрепенулся Алексей, чувствуя, как сердце пропустило удар.

Эсфирь резко поднялась, не по-старушечьи. Прялка смолкла окончательно, и в наступившей тишине стало отчетливо слышно, как за окном, в палисаднике, тревожно шелестит ветвями Словесное дерево.

— А это, — сказала она тихо, но с той особенной, ледяющей кровь отчетливостью, — то, о чем я до последнего боялась вам говорить. Но, видно, придется.

Дверь распахнулась с такой силой, что бумажные обои в прихожей жалобно зашуршали. На пороге стояла раскрасневшаяся, запыхавшаяся Лика, с гаечным ключом в одной руке и скомканной бумажкой в другой. Вид у нее был до чрезвычайности решительный.

— Шрифтовики, — выпалила она, переводя дух. — Все

трое. Идут к Гнезду. Я видела их с колокольни: они уже миновали Коровий брод и теперь двигаются напрямик сюда. У старшего в руках стилос, и стилос этот, Эсфирь, горит. Вы понимаете? Горит красным. Это значит — они идут не арестовывать. Идет полное аннулирование.

Эсфирь медленно, очень медленно повернулась к окну. За стеклом, в зеленоватом сумраке Нижней Москвы, уже угадывались три серые фигуры — пока еще далекие, едва различимые, но неумолимо приближающиеся, как строки обвинительного приговора.

— Значит, началось, — проговорила старуха, и голос ее прозвучал почти буднично. — Что ж, я знала, что этот день настанет. Знала с тех самых пор, как Петр Петрович в припадке безумия сжег свою рукопись. Глупо было надеяться, что обойдется.

Она обернулась к Алексею, и в глазах ее — обоих разом, и сером, и зеленом, — отразилась такая древняя, такая неизбывная печаль, что у гостя перехватило горло.

— Ваш прадед, Игнатий Турин, был человеком несокрушимой силы. Он носил Тимона сорок лет и почти дописал его, — не хватило сущего пустяка, нескольких страниц. Ваш дед, Николай Игнатьевич, пытался продолжить, но не сумел — сгорел на войне, унеся с собою последние главы. Ваш отец... впрочем, об отце после. А теперь пришел ваш черед, Алексей Дмитриевич. И зарубите себе на носу: то, что вы носите в себе, не проклятие и не дар. Это, голубчик мой, ответ-

ственность. Самая тяжкая из всех, какие выпадают человеку. Ответственность за незавершенную историю. За Сюжет, который старше большинства государств и мудрее иных философов. За бога, который устал быть богом и хочет лишь одного, своей законной точки в конце рукописи. Самой обыкновенной, черной, жирной точки. Вы понимаете?

Алексей молчал. Внутри у него, там, где с прошлой ночи тлел невидимый уголек, что-то шевельнулось, приподнялось, прислушалось. И в движении этом не было угрозы — лишь горькое, терпеливое, бесконечно уставшее ожидание.

— Понимаю, — сказал он наконец, и голос его дрогнул. — То есть, вероятно, не до конца. Но я постараюсь.

— Вот и ладно, вот и славно, — кивнула Эсфирь, и прятка ее снова зажужжала, словно подбадривая. — А теперь соберайтесь и бегите. Все бегите. Ты, Лика, знаешь дорогу. Через катакомбы, к Музею. Безродный примет. А я тут задержу их, сколько сумею. Много времени мне не отпущено, но хоть сколько-то я у них украду.

— Я с вами останусь, — сказала Лика решительно, и гачный ключ в ее руке угрожающе блеснул.

— Глупости, — отрезала старуха, и в голосе ее прорезался металл. — Ты нужна им живая и в здравом рассудке. А я, что? Я свое отжила. Мой текст давно дописан, и точка в нем проставлена. Мне бояться решительно нечего.

Она взяла Лику за плечи, легонько, но твердо подтолкнула к двери.

— Ступайте. Через подвал, там есть лаз в катакомбы. Абзац знает дорогу. Клим пусть прикрывает с тыла. И помните: Шрифтовиков трое, но это только начало. Кира Левченко не успокоится, пока не доберется до Сюжета. Она считает Нижнюю Москву раковой опухолью на теле текста и хочет вырезать все под корень, до последней буквы. Завершение Тимо-на для нее, не цель, а средство. Если она добьется своего, отсюда исчезнут не только вычеркнутые. Исчезнет сама память о том, что можно жить иначе — не по написанному кем-то сценарию, а по собственной воле. Ступайте же! Да хранит вас Слово.

Через минуту маленький отряд уже спускался в подвал, вернее, в то, что в доме Эсфири именовалось подвалом за неимением более подходящего слова. На деле же это была самая настоящая пещера, образовавшаяся в толще текстовой реальности, стены здесь были сложены не из кирпича, а из прессованных, слежавшихся за века рукописей, и каждая рукопись светилась собственным, особенным светом: синим, зеленым, алым, золотым. В этом мерцающем, колеблющемся сумраке лица спутников казались бледными и отрешенными, точно лики мучеников на старинных фресках, а глаза, напротив, блестели ярче обычного.

— Сюда, — скомандовал Абзац, ныряя в узкий проем между двумя кипами фолиантов, перевязанных истлевшими тесемками. — Тут недалеко, но идти придется согнувшись. И, сделайте милость, не шумите. Катакомбы — место тихое.

Не любят громких.

— А кто их любит? — философски заметил Клим, поправляя на плече неизменную свою полевую сумку с рукописями. — Громких вообще мало кто любит. Кроме, разве что, меня. Но я, согласитесь, исключение.

— Звягин, — прошипела Лика, — я тебя умоляю: хоть сейчас без стихов.

— А это не стихи, — кротко отозвался поэт, пригибаясь и ныряя в лаз следом за псом. — Это, Лика, констатация факта. А факты, как известно, упрямая вещь.

Алексей, прежде чем последовать за остальными, обернулся. В проеме двери, наверху, еще виднелся силуэт Эсфири — прямой, неподвижный, обведенный золотистым контуром. Старуха стояла лицом к входной двери, за которой уже слышались тяжелые, размеренные шаги, и ждала. Ждала так, как ждут поезда, который непременно придет по расписанию.

— Прощайте, — шепнул Алексей одними губами и, перекрестившись на всякий случай, шагнул в темноту.

Лаз оказался долгим и извилистым, как мысль бездарного сочинителя. Он петлял, уходил вглубь, и стены его постепенно менялись: прессованные рукописи уступили место грубой каменной кладке, поросшей светящимся мхом, знаки погасли, сменившись кромешным мраком, в котором только глаза Абзаца горели впереди, как два желтых фонаря.

— Катакомбы, — пояснил пес, когда беглецы наконец вы-

брались в относительно просторный тоннель, где можно было выпрямиться в полный рост. — Тут когда-то, в стародавние времена, хоронили стертых. Еще до Сухова, до Департамента. Дикие были времена, темные. Тогда не умели возвращать, а только стирали начисто. И сносили останки сюда, в толщу текста, чтобы никто не нашел, не вспомнил, не восстановил. Теперь тут пусто. Почти. Но иногда, знаете ли, попадаются любопытные вещицы.

Он кивнул вбок, где в стенной нише тускло поблескивал небольшой предмет. При ближайшем рассмотрении предмет этот оказался старинным стилусом, покрытым зеленоватой патиной, с погнутым острием и полустертыми буквами на рукоятке.

— Не трогайте, — предупредила Лика, заметив невольное движение Алексея. — Здесь каждая вещь на учете у памяти. Возьмете чужое и придется отдавать свое. Таков закон катакомб. И он, доложу я вам, страшнее любого департаментского приказа.

Двинулись дальше. Тоннель расширился, раздался вширь и ввысь и вывел в круглую залу с куполообразным потолком, с которого свисали, точно ледяные сосульки, буквенные сталактиты — застывшие строки на неведомых языках. Пол здесь был вымощен надгробиями, и каждое надгробие представляло собой раскрытую книгу с чистыми, девственно-гладкими страницами. Имена стертых покойников исчезли без следа, осталась только чуть желтоватая бумага, терпе-

ливо ждущая, когда на ней проступят новые письма.

— Красиво тут, — изрек Клим, озираясь с видом заправского экскурсанта. — Мрачно, но красиво. Прямо как в моей поэме «Смерть запятой». Ее, кстати, запретили. За формализм, за антисоветчину и за многое другое. Но главным образом, я полагаю, за то, что она была слишком хороша.

— Звягин, ты опять? — поморщилась Лика. — Ей-богу, застрелю когда-нибудь из милосердия.

— Молчу, молчу. Устами девы глаголет истина.

Она только вздохнула и ускорила шаг. Алексей, поравнявшись с ней, спросил вполголоса:

— А что там, наверху? С Эсфирью? Она справится?

— Не знаю, — ответила Лика, глядя прямо перед собой. — Эсфирь сильная. Быть может, самая сильная из всех нас. Но Шрифтовики — это вам не Птицы. Они обучены в Департаменте, и старший из них, Андрон, специализируется на вычеркивании памяти. Вы знаете, что это такое? Нет? И не дай вам бог узнать. После его работы не остается даже воспоминания о том, что человек когда-либо существовал. Просто — бездна. Как будто и не было никого. Ни тела, ни текста, ни даже имени.

— Веселое ремесло, — пробормотал Алексей.

— А вы думали, мы тут в игрушки играем?

В этот самый миг где-то позади, в глубине катакомб, раздался низкий, вибрирующий звук, похожий на гудение исполинского камертона. Стены тоннеля отозвались мелкой, про-

тивной дрожью, со свода посыпалась буквенная крошка.

— Началось, — сказал Абзац, останавливаясь и наостря уши. — Эсфирь поставила заслон. Теперь у нас есть, может, полчаса. А может, и того менее. Смотря сколько, она продержится, голубушка.

— Тогда не стойте, — поторопила Лика. — Шевелитесь, господа хорошие. До Музея еще топать и топать.

И отряд двинулся дальше — мимо ниш, заваленных истлевшими страницами, мимо безмолвных надгробий, мимо стен, с которых глядели пустыми глазницами стертые графемы. Впереди, освещая путь, шагала Лика с походным фонарем в руке. В фонаре горела светящаяся фраза, скрученная в тугую спираль, и фраза эта отбрасывала на стены тени, складывавшиеся в одно короткое, настойчивое слово: «ИДИ».

За Ликой, чуть приотстав, шел Алексей, все еще ощущая холодок между лопаток, где Бесхозный Эпитет пытался вытянуть из него слова. Позади, замыкая процессию, двигались Клим и Абзац, и между ними шел тихий, едва слышный разговор о предметах посторонних: об общих знакомых, о ценах на рифмы в связи с последними событиями и о том, подадут ли к ужину хоть что-нибудь, кроме сушеных глаголов.

Где-то далеко впереди, в самой глубине Старого квартала, уже зажигались желтоватые окна Музея имени Никого — странного места, где не было ни экспонатов, ни посетителей, ни даже самого музея в общепринятом смысле, а имелся лишь архивариус по фамилии Безродный, прикованный к

книге, которую никто не имел права раскрыть.

Алексей на ходу коснулся ладонью груди, где под сердцем вибрировал невидимый уголек. Он был теплым, этот уголек, и тепло его не обжигало, а грело, и от этого тепла в груди разливалось странное, давно забытое чувство, какое бывает только в детстве, когда просыпаешься зимним утром и вдруг понимаешь, что в школу идти не надо, потому что за окном метель и непролазные сугробы.

«Тимон, — подумал он. — Древний грек, проклявший всех и вся. Неужели это ты? Неужели ты и есть — вот это?»

Внутри шевельнулось, вздохнуло, точно человек, устраивающийся поудобнее в старом, привычном кресле, и затихло.

— Пришли, — объявил Абзац, усаживаясь на землю и вываливая язык. — Дальше к Безродному. Надеюсь, он еще жив, и он нас ждет. Хотя насчет последнего я бы на вашем месте не обольщался.

А впереди, в конце тоннеля, уже загорался желтоватый, почти земной свет. Там, за поворотом, угадывались очертания высокой двери, обитой медными листами, и на притолоке ее угадывалась вырезанная вязью надпись: «Музей имени Никого. Вход бесплатный. Память обязательна».

Дверь дрогнула и со скрипом отворилась, приглашая беглецов в темноту — уже не страшную, а спокойную, обжитую, хранящую вековечный затхлый запах пыли и неоткрытых книг.

Где-то высоко наверху, в доме Эсфири Крюк, угасал последний заслон, и тишина, наступившая вслед за тем, была страшнее всякого грохота. А по катакомбам, принимаясь и оставляя на стенах багровые метки, уже шли трое в сером. Каждый из них знал: за голову носителя назначена цена. Десять тысяч знаков. Живым. И охота на носителя продолжалась.

Дверь Музея имени Никого, возвестив о своем пробуждении скрипом столь протяжным и многообещающим, какой случается только у очень старых, разохшихся дверей, отворилась, и за нею обнаружился вестибюль. Комната была невелика, но поражала воображение своей безукоризненной музейной пустотой. Ни одного экспоната, ни одной, даже самой заваливающей витрины, ни даже таблички с именем зрителя. Голые каменные стены, плиточный пол, вытертый, казалось, тысячами невидимых подошв, и в центре всего этого великолепия возвышалась конторка, а за конторкой, разумеется, человек.

Человек этот, по всей видимости, и был Безродный. Возраст его представлял собою загадку, достойную лучших умов: ему можно было дать и сорок, и семьдесят, и все сто разом. Годы прятались в складках выцветшего сюртука, в благородной седине, тронувшей виски, в сутулости плеч, но более всего в выражении глаз. Глаза у Безродного были рыбы, блеклые, исполненные абсолютного, космического безразличия ко всему, что не касалось его непосредственных

обязанностей. Обязанности же эти, судя по бумагам, разложенным на конторке, заключались в составлении описей. Он их и составлял, медленно, с чувством, макая перо в чернильницу и выводя строку за строкой на шероховатой бумаге.

— Закрыто, — произнес он, не поднимая головы. Голос его был под стать владельцу — сухой и какой-то архивный. — Музей закрыт на реставрацию. Реставрация продлится неопределенный срок. Приходите завтра. Или через год. Или никогда. Как вам будет угодно.

— Безродный, кончай ломаться, — шагнула вперед Лика, и в голосе ее звякнул металл. — У нас чрезвычайное положение. За этим молодым человеком, — она кивнула на Алексея, — охотятся Шрифтовики. Все трое. Идут по нашу душу и дышат, полагаю, в затылок. Приюти на время. Эсфирь очень просила.

Архивариус отложил перо и наконец поднял взгляд. В блеклых его глазах мелькнуло нечто, отдаленно напоминающее оживление, но тотчас погасло, как гаснет искра в сыром пепле.

— Эсфирь Крюк? — переспросил он. — Жива еще? Удивлен. Искренне удивлен. При ее-то образе жизни и круге знакомств это почти неприлично.

— Ты мне зубы не заговаривай, — отрезала Лика. — Примешь или не примешь? Отвечай прямо, без философствования.

Безродный вздохнул. Вздох этот получился таким долгим

и обстоятельным, словно он выпускал из груди воздух, скопившийся там за много лет.

— Принять-то приму, — сказал он наконец. — Музей имени Никого еще никому не отказывал в приюте. На то он и имени Никого. Но предупреждаю: у меня тут не гостиница. Не трактир. И, тем более, не убежище. Музей — место тихое, архивное, и порядки здесь соответствующие. Никаких драк. Никакой магии. Никаких громких слов. Особенно последнее. Их я органически не переношу.

— Договорились, — кивнула Лика. — Мы тихо, как мыши.

— Мыши, — повторил Безродный с сомнением, и в голосе его послышалась вековая усталость. — Видал я таких мышей. От них потом штукатурка осыпается и рукописи тают. Ну да ладно. Располагайтесь. Второй этаж, третья дверь налево. Там прежде хранились описи за позапрошлый век, но теперь пусто. Можете занять. Только чур — к книге не прикасаться.

— К какой книге? — не понял Алексей.

— К той самой, — Безродный неопределенно кивнул куда-то вглубь здания, где за арочным проемом угадывался длинный, полный теней зал. — В главном читальном зале, под стеклом. Книга Сухова, которую он сжег. Сжег-то сжег, да не до конца. Что-то осталось. Что-то уцелело. И теперь лежит здесь в единственном экземпляре. Рукопись неоконченного романа. Без названия. Без финала. Без автора, по-

тому что автор от нее отсекся. Но в ней еще дремлет такая сила, что дай бог всякому законченному. Так что не прикасайтесь. И другим не позволяйте. У меня из-за нее, знаете ли, хлопот полный музей.

Он снова взялся за перо, давая понять, что разговор окончен.

Поднявшись на второй этаж по лестнице, каждая ступенька которой была снабжена бронзовой табличкой с каким-нибудь изречением (попадались и вполне банальные, вроде «Знание — сила», и откровенно безумные, как «Осторожно, ступенька помнит всё»), отряд обнаружил обещанную комнату. Она оказалась просторной, хоть и захлавленной той особенной, бумажной захлавленностью, что наводит тоску на человека свежего. Вдоль стен громоздились стеллажи, уставленные коробками с надписью «Описи», а посредине, как утлый плот в море бумаг, стоял длинный стол, за которым, судя по слою пыли, не сидели по меньшей мере полвека.

— Располагаемся, — скомандовала Лика, сбрасывая куртку на спинку стула. — Абзац, проверь окна и черный ход. Звягин, стой на стреме у двери. А ты, Турин, садись и рассказывай. Всё, что знаешь. И всё, чего не знаешь, но догадываешься. Потому что я, откровенно говоря, запуталась. Вроде и вычеркнутая, и в Нижней Москве не первый год, но такого ажиотажа, как вокруг тебя, не припомню. Тут что-то нечисто.

Алексей сел и, запинаясь, изложил все, что узнал от Эсфири и от того странного внутреннего голоса, который просыпался в нем всякий раз, стоило оказаться в опасности. Про род Туриных. Про Тимона. Про незавершенный Сюжет, который длится две с половиной тысячи лет и не может успокоиться. Про Сухова, сжегшего рукопись, и про то, что теперь за ним, Алексеем, охотятся не только Птицы и Шрифтовики, но, кажется, и сам Департамент.

Ли́ка слушала молча, хмуря бровь, и только желваки на скулах ходили туда-сюда.

— Значит, Тимон, — сказала она, когда он закончил. — А я-то думала, это байки. Легенды для новичков. В Нижней Москве про него рассказывают всякое, мол, ходит где-то самый первый Сюжет, старше всех богов, древнее самой памяти. Но чтобы вот так, вживую... — она покачала головой. — Плохо дело. Очень плохо. Потому что Шрифтовики — это еще полбеда. Настоящая беда — Кира. Если она узнает, что ты здесь, она не остановится, пока не ликвидирует весь Музей вместе с нами и Безродным в придачу. Она упряма и принципиальна, как инквизитор. А еще она терпеть не может Нижнюю Москву. Для нее это текстовая опухоль, а опухоль, как известно, нужно вырезать, до последней клетки, до последней буквы.

В этот миг в дверь просунулась голова Климá.

— Ли́ка, — произнес он странным, севшим голосом, — там это. В общем, они здесь.

— Кто? — спросила Лика, хотя уже поняла.

— Шрифтовики. Вернее, пока один, но, кажется, старший. Тот, что вычеркивает память. Стоит у входа и беседует с Безродным. И беседа, судя по тону, принимает скверный оборот.

— Ах ты ж, — выдохнула Лика и вскочила так, что стул отлетел к стене. — Быстро. Все в читальный зал. Там есть запасной выход, я проверяла. Бегом.

Они скатились по лестнице, едва не снеся по пути стопку коробок с описями, и влетели в главный зал, где под стекляннным колпаком находилась Книга.

Зал был велик и темен, как склеп уважаемого, но забытого семейства. Свет сюда проникал сквозь единственное стрельчатое, забранное витражом окно, на котором неизвестный мастер изобразил сцену сотворения мира: из бездны возникали буквы, буквы складывались в слова, слова — в строки, строки — в древо, а у корней древа сидел человек с пером в руке и смотрел на всё это с выражением бесконечной усталости. Под витражом, на постаменте из черного мрамора, лежала раскрытая толстая книга в потрепанном переплете, со страницами, обгоревшими по краям. От нее исходило слабое свечение, и в этом свечении, если приглядеться, угадывались контуры так и не дописанных букв, оборванных на полуслове предложений, многоточий, за которыми не последовало ничего.

— Книга Сухова, — прошептала Лика. — Про которую

Безродный говорил. Турин, смотри, но не трогай. Я серьезно. Мне бабка рассказывала: кто до нее дотронется, или с ума сойдет, или автором станет. А что хуже — еще вопрос.

Она потянула его за рукав вбок, где за гобеленом (изображавшим, по жестокой иронии судьбы, пожар Александрийской библиотеки) скрывалась низкая, едва заметная дверца. Но пройти к ней они не успели.

Дверь в читальный зал распахнулась настежь, и на пороге возник старший из Шрифтовиков.

Был он высокий, тощий и бледный до той последней степени бледности, когда кажется, что сквозь кожу просвечивают кости. Одет в серый плащ, на поясе висел футляр со стилосом, в руке ничего не было, только длинные, суставчатые пальцы шевелились, ощупывая воздух. Но самым страшным было его лицо, точнее, полное отсутствие такового. Черты его были размыты, не дописаны, и на месте рта, носа, глаз угадывались только смутные провалы, из которых сочился холодный, белесый свет.

— А, — произнес он, и голос его прозвучал не в комнате, а где-то внутри головы, в том тайном убежище, где хранятся наши мысли. — Вот вы где. Носитель. И его провожатые. Хорошо. Очень хорошо. Безродный, ты, как всегда, на стороне побежденных?

Архивариус, стоявший за спиной у Шрифтовика, развел руками с видом трагического недоумения:

— Музей имени Никого не принимает ничьей стороны.

Он принимает только посетителей. А посетители, Андрон, бывают разные. Одни приходят с добром, и таким я рад. Другие являются с оружием, и таких я терплю. Третьи приходят исключать, а вот этих я уже не люблю.

— Твои чувства, Безродный, никого не интересуют, — отрезал Шрифтовик. — Приказ Киры Левченко: носителя изъять, Сюжет вычленишь, сообщников ликвидировать. Приступить немедленно.

И он вскинул руку, в которой вдруг сам собою материализовался длинный, черный стилус с острием, горевшим багровым заревом.

Что произошло дальше, Алексей осознал не сразу. Воздух в зале сгустился, уплотнился, и все звуки разом исчезли, словно их вырезали ножницами из ткани бытия. Лица стояла рядом, и рот ее открывался и закрывался в беззвучном крике. Клим, застывший у двери, размахивал руками, и жесты его были полны отчаяния, но бессмысленны. Даже собственное дыхание Алексей перестал слышать, а только чувствовал, как воздух входит в грудь и выходит обратно, без единого шороха.

«Гробовая Тишина», — мелькнуло в голове. Так назывался этот прием. Шрифтовик стирал не людей и не события, а убирал саму возможность слышать, оставляя жертву один на один с беззвучием, что, как известно, страшнее любой пытки.

Андрон шагнул вперед. Его инструмент описывая в воз-

духе огненные дуги, чертил линии, и линии эти складывались в не видимые слова, но ощутимые. Они впивались в сознание, минуя уши, и каждое слово жгло. «Молчать», — говорили линии. «Забыть», — вторили им тени на стенах. «Исчезнуть», — шептал сам воздух.

Алексей попятился. Ноги не слушались, в голове стоял не звон, а какая-то смысловая какофония. Он видел, как Лика, преодолевая немоту, пытается замахнуться гаечным ключом, но движение ее замедлилось, будто она пробиралась сквозь патоку. Видел, как Клим, беззвучно шевеля губами, складывает пальцы в рифму, но рифма не рождалась, гасла, не успев оформиться.

И тут вперед выступил Абзац.

Пес, которого все это время почти не было заметно, вдруг оказался в самом центре зала, между Шрифтовиком и остальными. Шерсть на загривке стояла дыбом, глаза горели желтым, а пасть была разверзнута в немом, но от этого не менее яростном лае. Он лаял, и лаял, и лаял, и, хотя ни единого звука не вырывалось из его глотки, воздух вокруг пса начал дрожать. Сперва едва-едва, потом все сильнее, и вот уже от пасти Абзаца начали расходиться круги, какие расходятся по воде от брошенного камня, только здесь они расходились по тишине. И там, где они проходили, тишина давала трещину.

Андрон обернулся ко псу. Лица его по-прежнему не было видно, но в движении плеч угадывалась досада. Он взмах-

нул стилусом, и огненная линия полоснула Абзаца поперек груди. Пес отлетел к стене, ударился о стеллаж с описями и сполз на пол, оставляя за собой буквенный след: из его раны вытекали обрывки слов.

Но дело было сделано. Тишина треснула. Сперва послышался далекий, едва различимый гул, потом стал нарастать шорох, потом раздался звон, и вдруг все звуки разом хлынули обратно, как вода сквозь прорванную плотину. Лица выкрикнула что-то неразборчивое, но гневное. Клим, обрета голос, тут же запустил в Шрифтовика готовой рифмой, и четверостишие ударило Андрона в плечо и разорвалось каскадом искр. А Алексей, сам не понимая, что делает, шагнул вперед и выкрикнул:

— Прочь! Изгоняю тебя, слышишь? Изгоняю!

И слово это — «Изгоняю» — вырвалось из его груди не просто звуком, а чем-то большим. Оно было горячим, как головня из костра, и тяжелым, как камень. Ударившись о грудь Шрифтовика, оно впечатало его в стену с такой силой, что с потолка посыпалась штукатурка и вместе с нею осколки, остатки старых описей.

Андрон пошатнулся, выронил перо (тот, упав на пол, прожег в плитке аккуратную дыру и исчез) и медленно, нехотя, преодолевая чудовищное сопротивление, попятился к выходу.

— Это еще не конец, — произнес он, и его голос, утративший ледяную уверенность, звучал теперь глухо и зло. — Нас

трое. И мы вернемся. Сюжет будет изъят. Память — стерта. Такова воля Киры.

— А Кира твоя пусть подавится своей волей, — отозвалась Лика, замахиваясь ключом, но Шрифтовик уже исчез. Только серый плащ мелькнул в дверном проеме, и шаги, тяжелые, неровные, простучали по плиткам вестибюля, удаляясь.

Стало тихо. На этот раз — обычной, человеческой тишиной.

— Абзац! — крикнул Алексей, бросаясь ко псу.

Тот лежал, свернувшись калачиком, и тяжело, со свистом дышал. Рана на груди его выглядела странно: она была не рваная, не колотая, а словно бы стертая. Там, где у обычного существа должна была быть шерсть и кожа, теперь зияла пустота, заполненная тускло мерцающими, гаснущими на глазах буквами.

— Голос, — прошептал пес, когда Алексей склонился над ним. — Он мне голос зачеркнул. Почти. Но не до конца. Я успел... поставить запятую. Запятая ведь не точка. Запятая — это продолжение. Так что, временно я побуду немым. До свадьбы, как говорится.

— До какой еще свадьбы? — всхлипнула Лика, присев рядом, и в голосе ее была нежность, которую трудно было ожидать от этой железной женщины.

— До финальной, — ответил пес, и глаза его, желтые, усталые, блеснули прежней иронией. — Которая неминуема.

Вы, как хотите, а я в этой истории остаюсь. Пусть даже без голоса. Пусть даже без слов. Текст без собаки — сирота. Так Эсфирь говорит. А она, поверьте, знает.

Клим, стоявший все это время у двери, деликатно кашлянул.

— Слушайте, — произнес он негромко, — я, конечно, прошу прощения, что вмешиваюсь в столь трогательный момент, но этот, с размытым лицом, ушел не навсегда. Он приведет подмогу. И подмога эта, если я хоть что-то понимаю в тактике Департамента, явится с минуты на минуту. Надо уходить. Сейчас. Немедленно.

— Куда? — спросила Лика. — Гнездо разгромлено. Музей под угрозой. В Старом квартале нас уже ждут. В Пробел идти — самоубийство. Где прятаться?

— Есть одно место, — вмешался вдруг Безродный, появляясь из-за колонны с видом хозяина, в чьем доме устроили погром без предупреждения. — Есть. Но оно вам не понравится.

— Говори, — потребовала Лика.

— Архив на Плющихе. Бывшее здание Департамента, заброшенное после реформы шестьдесят третьего года. Сейчас там пусто, если не считать пары-тройки одичавших Сюжетов. Но место тихое, защищенное старыми заклинаниями, и, главное, там есть зеркало Сухова, через которое он когда-то связывался с Нижней Москвой. Возможно, оно еще работает. Если вам повезет, через него удастся поговорить с Сухо-

вым напрямую. И, может быть, он вразумит свою бывшую ученицу, пока она не натворила непоправимого.

— Это опасно, — сказала Лика. — Очень опасно. Идти через весь город, когда за нами охотятся...

— А у нас есть выбор? — перебил Клим резонно.

Выбора не было.

Они собрались за пять минут. Абзац, преодолевая слабость, поднялся на лапы и объявил, что дойдет, даже если придется ползти на брюхе, — благо теперь ему не нужно говорить, а молчать можно и на ходу. Безродный выдал им карту катакомб, по которой можно было добраться до Плющихи, минуя открытые пространства, и старый фонарь, заряженный вместо батарейки цитатой из Марка Аврелия. Клим пересчитал оставшиеся рифмы и мрачно заметил, что на серьезный бой не хватит, но на пару стычек, бог даст, наскребется. А Лика, посмотрев на свой гаечный ключ, удовлетворенно кивнула: ключ был при ней, а с ключом она чувствовала себя уверенней.

— Ну, с богом, — сказал Безродный, провожая их до двери. — Только помните: Архив — очень странное место. Там время течет иначе. Иногда вперед, иногда назад, а то и по спирали. Так что не задерживайтесь. И, главное, не читайте того, что написано на стенах. Особенно в третьем зале. Третий зал сам читает читателя, а это, знаете ли, совсем не просто — быть прочитанным.

Они вышли в ночь. Вернее, в то, что в Нижней Москве

заменяло ночь, — зеленоватый сумрак, сгустившийся до почти осязаемой тьмы, прорезаемой лишь светом фонаря да собственным свечением стен, на которых тут и там проступали строки древних, забытых текстов. Катакомбы окутали их прохладой и тишиной, но на этот раз тишина не пугала. Она была естественной, подземной, а не вычеркнутой чьей-то злой волей. Абзац бежал впереди, молчаливый, но по-прежнему уверенный. Клим замыкал шествие, придерживая на поясе мешочек с рифмами. Лица шагала рядом с Алексеем, и в руке ее, сжимавшей ключ, побелели костяшки.

— Слушай, Турин, — сказала она вдруг, не поворачивая головы, — я вот чего не понимаю. Ты всего пару дней как узнал про всё это. Про Тимона, про Нижнюю Москву, про ликвидированных. А держишься так, будто век тут прожил. Откуда что берется?

— Сам не знаю, — честно ответил Алексей. — Наверное, это не я. Наверное, это он. Привык за две тысячи лет. Выработал рефлекс.

— Может, и так, — задумчиво сказала Лица. — А может, и нет. Может, ты просто такой. Порода такая. Фамилия. Слышала я про Туриных. Про них в Нижней Москве легенды ходят. Говорят, они все были особенные. Не как все. Каждый по-своему, но особенный. Один, рассказывают, мог словом море успокоить. Другой бурю вызвать. Третий, и вовсе с богами разговаривал на равных. А прапрадед твой, Игнатий, тот, говорят, почти дописал Тимона. Почти. Одной страни-

цы не хватило. Одной-единственной, последней страницы, которую он то ли не успел, то ли не решился, то ли еще что. Словом, не дописал. И теперь эта страница — твоя.

— Весело, — повторил Алексей свою новую поговорку, и в голосе его не было веселья.

— А ты как думал? — усмехнулась Лика.

Впереди замаячил теплый свет, янтарный, живой. Там, за поворотом катакомб, их ждал Архив на Плющихе — заброшенное здание бывшего Департамента, населенное одичавшими Сюжетами и хранящее в своих недрах зеркало Сухова, последний шанс остановить Киру, не доводя дело до кровопролития.

Но на пути к Архиву, подобно ангелу с огненным мечом, стоял второй из братьев Шрифтовиков — тот, что вычеркивал события. И с ним, плотоядно улыбаясь, шла дюжина редакторов из личной гвардии Киры, вооруженных стилосами с усиленной тинктурой. Они ждали в засаде у самого выхода из катакомб, и средний, почуяв приближение носителя, уже положил палец на спусковой механизм своего оружия.

— Бежим обратно к Эсфирь? — всхлипнула Лика. — Больше некуда. Надеюсь, у нее все хорошо!

И команда понеслась по катакомбам.

Грязь и шрифт

Спуск начался в сумерках, в те самые поганые московские сумерки, когда солнце уже закатилось, а фонари еще не зажглись, и город притворяется, будто его вовсе нет. Анна Керн и Корнеев покинули здание Департамента через служебный вход, низкую дверь в глухой стене, выходящую в переулок, где и в ясный полдень царил полумрак, а уж теперь, в преддверии ночи, сгустилась такая темень, что хоть глаз выколи, хоть второй, но ничего решительно не разглядишь.

Впрочем, Корнеев, мужчина предусмотрительный до мелочей, до того самого педантизма, от которого у Анны временами сводило скулы, захватил с собой текстовый фонарь особой конструкции. Фонарь этот, надо вам сказать, был заряжен короткой, но чрезвычайно емкой фразой «Да будет свет» — и фраза эта, будучи активированной, принималась испускать ровное золотистое свечение, разгонявшее тьму на добрых десять шагов вокруг. Свет был мягкий, тягучий, какой-то даже уютный, и в нем Корнеев делался похож на библейского пророка, по недоразумению надевшего драповое пальто вместо власяницы.

Спуск в Нижнюю Москву для редакторов был делом привычным, почти рутинным, и всякий раз обставлялся одним и тем же образом: отметить командировку в журнале учета, получить усиленную порцию тинктуры, проверить сти-

лус, облачиться в походную одежду — словом, проделать все то, что полагается проделывать людям, спускающимся в места, откуда возвращаются не всегда и не совсем в том же составе. Но сегодня Анна чувствовала: рутина дала трещину. Тонкую, едва заметную, но трещину — так трескается фарфоровая чашка, еще целая с виду, но уже готовая развалиться от первого же кипятка. Слишком многое сошлось в одной точке: носитель с античным Сюжетом внутри, пробуждение Охотников, прямой приказ Сухова и, наконец, известие о том, что Кира Левченко бросила в охоту Шрифтови-ков. Все это складывалось в картину, которая Анне решительно не нравилась, а она, надо заметить, была женщиной, умевшей распознавать дурные картины задолго до того, как те обрамлялись в багет.

Они миновали несколько проходных дворов, где московская грязь перемешивается с московской же тоской в пропорции один к одному, и спустились по обледенелой лестнице в подвал старого доходного дома оказавшись перед массивной чугунной плитой, вделанной в пол. На плите, проступая сквозь ржавчину, темнела надпись: «Здесь начинается текст. Входящий, помни: слово — не воробей, но и не камень. Оно глина. Лепи осторожно».

— Старая редакторская поговорка, — пояснил Корнеев, заметив взгляд Анны, и в голосе его прорезалась особенная, чуть печальная интонация, с какой говорят о вещах, безвозвратно ушедших. — Еще довоенная. Тогда, в тридцатых,

каждый спуск в Нижнюю Москву начинался с этого напутствия. Теперь, сами видите, ржавчина его почти съела. Как и многое другое.

Он налег на плиту, и та, скрежеща столь отвратительно, что у Анны заныли коренные зубы, отъехала в сторону, открывая темный провал, из которого пахло сыростью и чем-то горьковатым, напоминающим жженую бумагу. Лестница, уводящая вниз, была стара — ступени ее, вырубленные в толще земли, поросли мхом, и чудилось, что спускаешься не в московское подземелье, а в некое доисторическое прошлое, где еще не изобрели ни электричества, ни приличий. Но на стенах, едва Корнеев опустил фонарь пониже, проступили строки. Они светились тускло, прерывисто, как неисправная неоновая вывеска над затрапезным трактиром, и складывались в обрывки предупреждений: «...не сворачивай...», «...берегись слизней...», «...при себе иметь...», «...в случае опасности звонить...». Номер телефона, впрочем, давно осыпался — да и кому, скажите на милость, звонить в Нижней Москве? Уж не участковому ли?

Спускались молча. Анна, чтобы отвлечься от мыслей, одна другой безрадостнее, считала ступени, и вышло ровно сто сорок четыре, двенадцать дюжин, и когда под ногами наконец захлюпала вода, поняла, что они достигли дна.

Это был коллектор, но не тот, разумеется, где очнулся Алексей Турин (Москва подземная велика и запутанна, простирается на многие километры, и черт знает, что там тво-

рится в ее отдаленных закоулках), но схожий: те же бетонные своды, та же влажная духота, тот же запах хлорки, смешанный с чем-то кислым, отдающим квашеной капустой, или несвежей метафорой. Вода стояла по щиколотку — мутная, маслянистая, с радужными разводами, — и в ней, если приглядеться, плавали обрывки слов, потерянных кем-то при переходе из Верхней Москвы в Нижнюю. «...овь», «...егда», «...азалось» — слова были изувечены, искажены, лишены начала и конца, и Анна, глядя на них, испытывала смутную жалость, какую испытываешь при виде бездомного существа.

— Нам туда, — Корнеев сверился с компасом, который показывал не стороны света, а направления смысловых потоков. — Где-то здесь, если верить сводкам, держал оборону Гриша-аккордеонист, что прикрыл Турина при первой встрече с Птицами. Возможно, он еще жив. А возможно...

Он не договорил, но Анна поняла. Она вообще многое понимала без слов — свойство, выработанное годами редакторской работы, где каждое несказанное слово весит подчас больше сказанного.

Они двинулись по тоннелю. Фонарь Корнеева выхватывал из тьмы то покореженную арматуру, свисавшую с потолка подобно окаменевшей змее, то груды битого кирпича, то потеки на стенах, подозрительно напоминавшие литеры — не то «а», не то «у», не то и вовсе дореволюционную «ять». Чем дальше они забирались, тем отчетливей делался в воздухе горелого — едкий, с металлическим оттенком, какой

бывает, если долго тереть железо о железо. А потом Анна услышала звук.

Сперва ей показалось, что где-то размеренно капает вода — кап, кап, кап, — через равные промежутки. Но, прислушавшись, она различила в этом звуке что-то музыкальное, почти мелодию. Три ноты, повторяющиеся снова и снова, высокие, чистые, прозрачные, будто кто-то перебирал клавиши расстроенного фортепьяно. И было в этом звуке что-то бесконечно печальное, что-то такое, от чего у Анны вдруг сжалось сердце, хотя она вовсе не была сентиментальна.

— Гриша, — сказал Корнеев. — Это он. Больше никому.

Они ускорили шаг. Звук делался громче, отчетливей, и вскоре тоннель вывел их в круглую камеру, где накануне Алексей встретил аккордеониста. Теперь камера выглядела иначе: стены ее были иссечены, точно по ним прошлись гигантским ножом, пол усеян обломками нотных знаков, застывших в воздухе и опавших, как сухие листья. Посередине камеры, привалившись спиной к трубе, сидел человек.

Он был еще жив, но жизнь эта, видимая глазу, теплилась в нем едва-едва, как огонь в лампе, где кончается масло. Грудь его, прикрытая драповым пальто, выдавшее должно быть, лучшие времена и лучшие мелодии, тяжело вздымалась, лицо залито потом, а руки, лежавшие на коленях, все еще сжимали аккордеон, вернее, то, что от него осталось. Меха были разорваны в клочья, клавиши вырваны с мясом, и только одна, последняя, чудом уцелевшая, еще отвечала на прикос-

новение, издавая чистый, высокий звук, который и привел их сюда.

— Гриша, — тихо окликнула Анна, опускаясь перед ним на корточки. — Гриша, вы меня слышите?

Он приоткрыл глаза. Глаза эти, еще недавно заплывшие и лукавые, теперь смотрели тускло, но в их глубине еще мерцало что-то осмысленное — последний уголек в прогоревшем костре.

— Редактор, — выдохнул он, и на губах его запузырилась розовая пена. — Сверху, стало быть. По мою душу? Или по его?

— По его, — честно сказала Анна. — Но и по вашу тоже. Вы прикрыли носителя. Вы вступили в бой с Охотниками. Это большой поступок. Я хочу знать, что здесь было. И куда он ушел.

Гриша перевел страшное дыхание, свистящее, какое бывает, когда воздух проходит сквозь пробитые легкие. Аккордеон на его коленях жалобно вздохнул, точно живое существо, и издал тихий, угасающий аккорд.

— Были Птицы, — сказал он с трудом. — Трое. Те, что в сером. Гнались за парнем, хотели вырезать Сюжет, продать на Рынке. Я их задержал. Ноты у меня кончились, меха порвались, а они все шли и шли. Последнюю мелодию... — он закашлялся, — последнюю мелодию я все-таки сыграл. Про Москву. Про Нижнюю Москву. Про то, как она держится на памяти. Хотите послушать?

Он не стал дожидаться ответа, да и кто бы стал ждать ответа в таком положении? Слабые, дрожащие пальцы, легли на уцелевшую клавишу, и аккордеон запел.

Это была не музыка в обычном смысле, а исповедь, облеченная в звуки. Мелодия, полившаяся из разорванных мехов, была тихой, треснутой, но в ней угадывалась такая сила, какой Анна не ожидала от умирающего инструмента. Она текла, ширилась, заполняла камеру, и по мере того, как она звучала, стены начинали меняться и на них, проступая сквозь копоть и плесень, возникали строки.

Это были подсказки.

«Ищи якорь», — гласила одна, выведенная каллиграфическим почерком, какой бывает только у профессиональных писцов. «Якорь в рукописи», — вторила ей другая, начертанная поперек первой. «Рукопись помнит то, что забыли люди», — подхватывала третья, и в словах этих чудилась насмешка над всем человеческим родом, столь склонным к забывчивости. И наконец, в самом низу, у пола, проступило короткое, но емкое: «Аглая».

Анна вздрогнула. Имя это она знала, слышала от Корнеева, читала в старых сводках, но услышать его здесь, в подземной камере, из уст умирающей музыки, было совсем другое дело.

— Что это? — спросила она, оборачиваясь к Корнееву.

Тот стоял, впившись глазами в стену, и его лицо, обычно безупречно-спокойное, сейчас дергалось мелкой, почти

незаметной дрожью.

— Аглая, — повторил он, и в голосе его прозвучала боль, какой Анна от него никогда не слышала. — Аглая — моя жена. Была. До того, как ее вычеркнули. Я думал, это случайность. Думал, ошибка. Но теперь, теперь вижу, что нет.

Мелодия между тем достигла вершины и начала затихать. Гриша, обессиленный, откинул голову на трубу. Аккордеон в его руках дернулся в последний раз и смолк, а вместе с ним погасли и надписи на стенах, и только «Аглая» еще мерцала несколько секунд, а потом и она исчезла, будто ее и не было вовсе.

— Прощай, Гриша, — тихо сказала Анна.

Аккордеонист улыбнулся.

— Ничего, — произнес он одними губами. — Я свое отыграл. Теперь вы играйте. Только, чур, не фальшивьте.

И затих.

Анна поднялась, чувствуя, как внутри, под сердцем, разрастается тупой, ноющий холодок. Она много раз видела смерть, и наверху, в Верхней Москве, где стертые чиновники рассыпались прахом, и здесь, в Нижней, где вычеркнутые угасали иначе, медленней, мучительней, но к этому невозможно было привыкнуть. Каждый раз казалось, что вместе с умершим уходит часть тебя самой — та часть, которая еще верила в возможность что-то исправить.

— Викентий Павлович, — обратилась она к Корнееву, стараясь говорить спокойно, хотя спокойствие это давалось

ей с трудом, — здесь, судя по всему, должен быть обрывок рукописи. Тот самый якорь, о котором упоминала музыка. Давайте его искать.

Они принялись за дело. Корнеев, опустив фонарь к самому полу, обследовал пядь за пядью, а Анна, вооружившись стилусом, простукивала стены. Тинктура в инструменте отзывалась на прикосновения легким поблескиванием, и там, где свечение усиливалось, можно было подозревать скрытый текст. Прошло не меньше четверти часа — мучительных, тягучих, наполненных тишиной, которая хуже всякого крика, — прежде чем она наткнулась на что-то стоящее: в углу, за обломком бетонной балки, белел клочок бумаги, вмятый в грязь и едва не затоптанный.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.